

Холод черёмухи

Автор:

[Ирина Муравьева](#)

Холод черёмухи

Ирина Лазаревна Муравьева

Семейная сага #2

Младшая сестра Тани Лотосовой Дина отличается не только необычной красотой, но гордостью, силой и дерзостью. Муж её считает, что эта девочка, на которой он безрассудно, по страсти, женился, почти заколдовала его: он чувствует свежий и холодный запах черёмухи, которым, как ему кажется, пахнет её молодое тело, и с каждым днём всё отчетливее понимает, что жизни без Дины и этой черёмухи нет и не будет. Однако они расстанутся: Дина возвращается из свадебного путешествия обратно в Россию, где только что взяли власть большевики, а муж её застревает в Берлине, где подписывает контракт с одним из эмигрантских театров.

В разорённой и голодной Москве Дина встречает человека, совершенно подчинившего себе её волю...

Ирина Муравьева

Холод черёмухи

Ни одна живая душа не подозревала о том, что её ждет. Да и как было заподозрить, что с каждой сдерут её тонкую кожу, подвешат внутри пустоты и, окровавленная, обгоревшая, разъятая на куски, душа будет мёрзнуть, чернеть и

гноиться?

У Александры Самсоновны не было детей. Первые и единственные роды закончились смертью доченьки Сонечки, которую Александра Самсоновна в мечтах давным-давно вырастила, воспитала и выдала замуж. На отпевании своей семидневной девочки, которую едва успели окрестить за день до смерти, она не проронила ни слезинки, стояла как каменная, стягивала к вискам бархатные глаза обеими руками. Через полгода выслушала приговор о бесплодии тоже спокойно, окаменев прямо на диванчике в кабинете маленького Отто Францевича, отмеченного многочисленными наградами доктора медицины и всей Москве известного акушера-гинеколога. А когда ещё через два года Александр Данилыч стал вдруг нервным, озабоченным, раздражённым, перестал смотреть в её бархатные глаза своими умными, насмешливыми и грустными глазами, а норовил остаться на ночь в кабинете, якобы для того, чтобы не будить Александру Самсоновну, если ему вдруг захочется почитать, она тут же догадалась, что муж потерял свою бедную голову, раздавлен большой безответной страстью, и как с ним теперь говорить – непонятно. Он с детства был влюбчивым, пылким, порывистым и сильно отличался от большинства мужчин, которые легко изменяли своим жёнам, легко сходились, легко расходились и доживали до преклонных лет, не догадавшись даже, что любовь проскользнула между их ладонями так, как проскальзывают маленькие серебристые рыбки, которых, бывает, войдя по колено в нагретое озеро, видишь и хочешь наивно поймать, а рыбки, коснувшись тебя ярко вспыхнувшей кожей, навеки уходят, вильнув плавниками.

Александра Самсоновна, умница, давно поняла, что мужу её невоготу без остроты любовных переживаний, и весь он – из этих старинных романсов, из этих стихов, отворённых калиток, под еле слышный скрип которых набрасывают на голову кружева, а звон колокольчика, сливаясь внутри синеватого снега с сиянием долгого женского взгляда, и сам начинает блестеть, как осколок.

Ребёнок удержал бы мужа – о да, удержал бы! – но разве забыть этот день, когда Отто Францевич, дёргая свою еле заметную, жёлтую бровь длинными, в цыплячем пушке, золотистыми пальцами, сказал ей сердито:

– Дай Бог, чтобы я ошибался. Но я, к сожалению, не ошибаюсь.

С этой минуты сердце Александры Самсоновны принялось кровоточить. Хотелось заснуть и уже не проснуться.

А всё началось очень просто.

Осенью 1910 года супруги Алфёровы познакомились в поезде с дамой, ехавшей так же, как и они, в Крым, чтобы спрятаться там от наступавшего в Москве холода. Александр Данилыч страдал странным недугом: он не переносил длительного отсутствия солнца.

– Как ты можешь жить в этом аду, Саша? – бормотал он, отдёргивая штору и безнадежным взглядом впитывая в себя слизистый после долгой ночи, неровный свет зимнего дня. – А я пропадаю!

И впрямь: пропадал. Мучился мигренями, тоской, отчаянными мыслями. Поэтому ехали в Крым: надышаться чужим виноградным теплом, синевою.

Даму, встреченную в поезде, звали Ниной Веденяпиной, она была женой врача из Алексеевской больницы, имела от природы слабые лёгкие и каждую осень лечилась в Ялте. Александра Самсоновна взглянула на неё и сразу же всё поняла. Не было в госпоже Веденяпиной никакой особой красоты, но прелесть такая, что не оторваться. Рассказывая что-то, она со смехом коснулась руки Александры Самсоновны, и та ощутила тревожный огонь, толчками идущий от этого тела. И тут же смутилась до слёз: нельзя приближаться к такому огню. А мужу уж точно нельзя: сразу вспыхнет.

Рассказывая, Веденяпина слегка краснела, слегка улыбалась, и голос её был лёгким, немного пушистым, как будто бы гладил тебя по лицу. Расстались в Ялте: Алфёровы ехали дальше, в Гурзуф, а Нина Веденяпина, светло засмеявшись, сказала, что нужно спешить в магазин за лорнетом и где-то найти себе белого шпица, чтоб не отличаться от дамы с собачкой.

– Какая вы дама с собачкой!

Горькое, затравленное выражение поймала Александра Самсоновна в глазах Александра Данилыча, когда он выговорил это.

– Нет, вы из другого рассказа!

– Какого? – краснея, спросила она и нахмурила брови.

В Гурзуфе же было чудесно. Жили в доме с терраской, увитой виноградом, который ещё дозревал на пылающем солнце, и запах его пропитывал не только землю, траву, цветы, но и руки, и волосы, и простыни на кровати, и когда Александра Самсоновна целовала своего мужа в голову, то даже кожа на его лбу и висках пахла виноградом. Вечером уходили гулять и долго шли по тёплой мокрой гальке, а море вздымалось и опадало рядом, дышало доверчиво, будто родное. В соседнем доме жил одинокий и странный человек с профилем Данте, который вечерами играл на скрипке, а его собака, с прилизанной, атласно блестящей, пятнистой шерстью, тихонько поскуливала от жгучих мелодий.

Александре Самсоновне, носившей здесь, на природе, простые белые платья, сильно загоревшей, так, что круглое лицо ярко темнело из-под кудрявых волос, стало казаться, что Александр Данилыч опять смотрит на неё прежними, молодыми и ждущими глазами, и так же нетерпеливы и нежны были его ночные объятия, и так же, как прежде, насквозь прожигали, сбегая по телу её, его пальцы.

Нина Веденяпина почти уже стёрлась из памяти Александры Самсоновны, и однажды она, чтобы поддразнить своего мужа, спросила наивно:

– Как ты думаешь, не скучно ей там, в этой Ялте?

И сердце заколотилось, когда Александр Данилыч побледнел и ничего не ответил. О Господи, как же прекрасно в Гурзуфе! Остаться бы им в этих диких местах, забиться в тёмную раковину чужой жизни, и пусть бы её унесло далеко – совсем далеко, за моря и за горы, – они бы дышали в её глубине, и были бы вместе, и были бы живы...

В Москве уже ярко белел первый снег, а солнце, хотя и холодное, проворно играло с весёлой зимою: повсюду блестело, повсюду хрустело, и птицы, застывшие на проводах, казались кусочками пёстро-го мрамора. Вот тогда-то, в первую неделю после их возвращения, появились эти избегающие Александру Самсоновну взгляды, сдавленные ответы на её вопросы, готовность всю ночь просидеть за столом, читая или работая, и, в крайнем случае, подремать пару часов на неуклюжем диване в кабинете, накрывши подушкой голову. Всё, лишь бы не спать в их супружеской спальне.

У Александры Самсоновны, как говорили вокруг, был острый мужской ум, но душа её была женской, а ещё точнее – девичьей: стеснённой и робкой, мечтательной, нежной. Она почти болезненно, до полной потери себя, любила Александра Данилыча, но никаких особых прав на него не чувствовала и, если бы ей сказали, что можно припугнуть ускользающего мужа хорошим и крепким скандалом, а можно и проще: наестся таблеток, от которых, конечно, не умрёшь, зато – всю в слезах – бросишь на пол записку, в которой, прощая, простишься навеки, – она возмутилась бы и отказалась. Его нужно было вернуть – жизни без Александра Данилыча быть не могло, – но вернуть нужно было честно, любовью, а не угрожая, не пугая. И когда однажды приехавшая из Астрахани кузина, разведённая и открыто живущая с чужим мужем, ярко-рыжая, белокожая, «наглая», как уверяли посторонние, и «несчастливая», как догадывалась Александра Самсоновна, закуривая длинную, с золотым ободком, папиросу, сказала ей своим свежим и вкусным, как ломоть астраханского арбуза, голосом, что нужно самой изменить Александру Данилычу, и он тогда моментально протрезвеет, Александра Самсоновна, до боли натянув к вискам бархатные глаза, ответила тихо:

– Мне гадко тебя даже слушать, Лариска.

И так прозвучало это неловкое «гадко», что рыжая Лариска всплеснула руками, смяла в пепельнице папиросу, порывисто пересела к ней на диван, уткнулась в неё и бессильно расплакалась.

Терпеть нужно было. Терпеть и надеяться. Муж уходил гулять по Неопалимовскому, выходил на Большую Царицынскую, где в клиниках Московского университета велись по ночам опыты над животными, и воющий лай, в котором только мёртвый не услышал бы мольбу о пощаде, разносился далеко до самого проезда Девичьего Поля.

Александр Данилыч шёл по Большой Царицынской улице, скривившись от звука собачьего лая и нетерпеливо молясь про себя, чтоб кто-то, кто в силах, помог им, несчастным; он подставлял снегу лицо, и снег залеплял его, словно хотел согреться от его дыхания, но дыхание само становилось холодным, и над головой Александра Данилыча, чернея сквозь снег, проступали хребты мрачных туч, похожих слегка на приморские скалы, – он шёл и внутри себя нёс эту женщину, которая, может быть, крепко спала, о нём не тревожилась, не вспоминала. Умом Александр Данилыч понимал, что Нина Веденяпина не счастлива и не спокойна, но одно дело – понимать умом, а другое – мучиться и

ревновать сердцем. Он мучился и ревновал. Не к мужу, которого Александр Данилыч не знал и который почему-то совершенно не интересовал его, а к кому-то или даже скорее к чему-то, к какой-то чужой, дикой силе внутри этой женщины, с виду столь хрупкой.

После Крыма они встретились всего два раза – один раз в сквере и другой раз в номерах, куда Александр Данилыч, ужасаясь на свою измену, но при этом страшно счастливый, привёз её, решительную, с твёрдо сжатыми губами, и она шла за ним по длинному коридору гостиницы, опустив голову, но как-то особенно ярко и скорбно блестя глазами, как будто бы не в номера шла, а вместе со старцами на богомолье, и там, в тёплой комнате, за спущенными шторами которой шаркала и звякала Москва, провели вместе не больше чем полтора-два часа, и Александр Данилыч пережил столько, что сразу хватило на целую жизнь.

Прошёл целый месяц, и она не только не соглашалась снова встретиться с ним, но и по телефону разговаривала еле-еле, с заметной досадой, хотя очень вежливо, и Александру Данилычу стало казаться, что не было этого утра, и всё. Просто: не было. Он перестал ждать и погрузился в сомнамбулическое состояние тихого, но беспрестанного отчаяния, которое Александра Самсоновна сразу угадала и больно на него отреагировала. Ей, с её отзывчивым и добрым сердцем, лучше было терпеть его радость, его ошалевший восторг, чем видеть погасшие эти глаза. К тому, чтобы терпеть и мучиться, Александра Самсоновна почти привыкла. Нельзя не привыкнуть, живя с таким мужем. Тогда-то ей и пришла в голову мысль об открытии частной женской гимназии. Пусть вокруг будут одни девочки с одиннадцати до семнадцати лет, пусть он читает им Пушкина, пусть эта женственность – её молодые цветы и бутоны – оборотится к нему своей самой что ни на есть незащищённой стороной. Почему она вдруг поняла, что именно это и должно спасти Александра Данилыча, почему не испугалась того, что ему, легко теряющему голову от женских улыбок, и плеч, и походки, не захочется, как коту, разбившему горшок со сметаной, заурчать от удовольствия, Александра Самсоновна и сама не знала. Психологов в те времена ещё не было, никто не лежал в полутьме на кушетке, не слушал себя самого с содроганьем, всё было и просто, и дико, и страшно, однако же люди рождались исправно, деревья росли, и луна выплывала.

Она не ошиблась и не проиграла. Гимназию открыли неподалёку от дома, на той же любимой и славной Плющихе. Сперва было семь учениц, потом десять, и вот, наконец, сто пятнадцать. Девочки, конечно, попадались разные, но хорошеньких и даже очень красивых было много, и в каждой из них что-то тихо дрожало:

медленно, меланхолично назревала будущая жизнь ещё без имен, без событий, без страхов, а так, как плоды на деревьях. Не знает ведь плод, что ему уготовано: быть сорванным ветром, созреть, стать румяным, а может быть, сгнить и упасть недозревшим.

Именно это вдруг понял Александр Данилыч. Та мера ответственности за каждое слово, которое он произносил в классе на уроке, удивляла даже Александру Самсоновну. Она и не подозревала, что краткое, раздавленное смертью отцовство застряло в его душе, как, бывает, застревает в горле кусок хлеба или мяса, отчего человек начинает давиться и захлёбываться. Александр Данилыч никогда не говорил с женой о семидневной Сонечке, умершей от острого детского крупа, но боль, которая, как тисками, сжала Александра Данилыча в ту минуту, когда маленькое лицо новорождённой в кружевах и розах закрыли крышкой нарядного, словно бы кукольного, гроба и быстро засыпали красной землёю, – та жуткая боль, что он должен был сделать для девочки что-то, чего он не сделал, его ещё мучила, не проходила.

Александр Данилыч говорил со своими ученицами так, словно завтра этой возможности уже не будет, и годы, проведённые внутри молодого девичьего царства, в самом пекле его, где не только расцветало и благоухало, но и вспыхивало, и прожигало, где были и слёзы, и злые слова, и дыхание то высоко поднимало острую, маленькую грудь, то задерживалось внутри и вдруг вырывалось с обиженным шумом, – эти годы были самым счастливым временем не только для Александра Данилыча, но и для его жены, которая сразу поняла, что муж защищён этим девичьим царством намного мощнее, чем крепостью.

Дина Зандер, окончившая гимназию Алфёровой в 1917 году, была так же мало похожа на своих одноклассниц, как дикая тропическая птица с фиолетовыми глазами похожа на серого воробья из зимнего Замоскворечья. Она продолжала жить в одном доме с матерью, отчимом и своей сводной сестрой Таней, у которой был сын Илюша, «прижитый», как в сердцах говорила иногда няня, «незнамо откуда». Илюша был, однако, «прижит» от Таниного погибшего на войне жениха – знаменитого артиста Владимира Шатерникова, который прославился тем, что замечательно сыграл роль графа Толстого в фильме Якова Протазанова «Уход великого старца». Фотография Владимира Шатерникова в роли графа Толстого висела в гостиной на самом видном месте, и выражение глаз у артиста на этой фотографии было такое, что сразу становилось понятным: опять бы ушёл, и ещё раз ушёл, а если бы заперли, то пожалели бы. Сама же

Таня, сводная сестра Дины Зандер, была, по словам той же няни, «тихим омутом, где черти водятся». Илюше исполнилось четыре месяца, когда у Тани вспыхнула любовь к пожилому (так Дине казалось!) человеку, Александру Сергеевичу Веденяпину, и сестра словно бы ослепла от этой любви и стала сама на себя не похожа, пока у них не произошла какая-то ссора, после которой Таня и слышать не хотела об Александре Сергеевиче. Но он вскоре начал звонить, и мама потребовала однажды, чтобы Таня объяснила наконец, по какому праву этот пожилой человек звонит по утрам и беспокоит весь дом. Случилась ужасная сцена.

Сидели вечером, – отец задержался в госпитале, пили чай с прошлогодним вареньем, сахара было уже не достать, – и мама сказала, что сегодня Веденяпин звонил целый день, и нужно ему втолковать наконец... Но Таня, вдруг ставшая такого же цвета, как ягоды этой горчившей смородины, закричала, чтобы её оставили в покое, что она давным-давно взрослая и никто не смеет делать ей никаких замечаний.

– Но я тебе – мать, – сказала тогда мама, и у неё раздулись ноздри. – Ты всё же должна выбирать выражения...

– Я вам ничего не должна! – выдохнула Таня и обеими руками оттолкнула от себя чашку. – Я все вам долги отдала!

– Какие долги? – втягивая и раздувая ноздри, прошептала мать.

Гувернантка Алиса Юльевна, вырастившая Таню, которую мать оставила на пятом году жизни для того, чтобы, разведясь с Таниным отцом, выйти замуж за Ивана Андреевича Зандера и родить себе девочку Дину Зандер, – эта вот кроткая и всегда молчаливая Алиса Юльевна, без конца почему-то ломающая себе то ноги, то руки, попробовала было вмешаться и тихо дотронулась до Таниного плеча, но Таня, ставшая совершенной фурией, обошла стол и, остановившись прямо перед своею родною матерью Анной Михайловной Зандер и глядя ей в глаза почти почерневшими в гневе глазами, шепнула ужасную фразу. Дине сначала даже показалось, что она ослышалась. Но по тому, как побелела Алиса Юльевна, а няня всплеснула руками, Дина догадалась, что и они услышали то же самое.

Она ей сказала:

– Я вас ненавижу.

И тут же ушла, хлопнув дверью.

У мамы началась истерика. Дина никогда не слышала, чтобы мама так кричала. Она не кричала так даже тогда, когда внезапно умер её муж, Иван Андреевич Зандер, и мама в минуту его отпеванья, рыдая, давясь и забыв о приличьях, стала целовать лежащего в гробу мёртвого человека так, как будто он жив и сейчас ей ответит. Тогда она тоже истошно кричала, но всё же не так, как сейчас.

Таня ушла, а мама, Дина, Алиса Юльевна и няня остались, где были. Они слышали, как Танины башмаки громко простучали по коридору, а потом хлопнула дверь её комнаты. И тут мама стала кричать. Она сползла на пол, потянула на себя скатерть, с которой тут же упала вся посуда, включая вазочку с вареньем, и ягоды растеклись по полу, она закричала, захлёбывалась своим криком, захрипела, и Дина испугалась, что мама умирает... Они не могли поднять её с пола, она словно бы вросла в него, хрип её мешался с рыданиями, глаза были полны ужаса, затылком она ещё билась об пол, и звук был таким, словно падают яблоки.

После этого вечера мама и Таня перестали разговаривать. Они жили в одном доме, встречались в столовой за обедом, но в остальное время не замечали друг друга. Кроме того, мама начала вслух обсуждать, когда ей поехать в Финляндию, чтобы продать дом, оставшийся от родителей покойного Ивана Андреевича Зандера, и выручить за этот дом хотя бы какие-то деньги, пока ещё можно.

Александра Самсоновна Алфёрова, которую Дина особенно уважала за ту душевную силу, которая отличала всё, что Александра Самсоновна говорила и делала, очень советовала Дине серьёзно заняться математикой и находила в ней большие способности к этому занятию. Мама же, когда речь заходила о математике, только приподнимала брови и насмешливо улыбалась. Однажды она сказала, не вдаваясь ни в какие объяснения:

– В нашей семье никогда не будет женщин-математиков. Мы все слишком женщины.

Весною 1917 года большинство курсов закрылось, и тут Дина объявила, что собирается быть актрисой. Можно было попробовать поступить в консерваторию, но она боялась, что её не возьмут, а гордость её была так сильна, что лучше пожертвовать музыкой, но не унизиться. Актрисой же можно было стать прямо сейчас, потому что в Москве началась бешеная мода на театры, и труппы росли с быстротою грибов, находили себе покровителей, снимали помещение, расклеивали по всему городу аляповатые афиши, и девушкам – милым, весёлым и бойким – сам Бог велел, чтобы они стали актрисами.

У Лотосовых к случившейся зимою революции отнеслись настороженно. Каждый человек из этой маленькой, странной и очень нервной семьи обладал своими особенными предчувствиями, которые бродили в нём, как бродит сахар внутри домашней наливки из свежих, за лето поспевших и собранных ягод. Изнутри души поднимались те же маленькие, чёрно-красные пузырьки, которые поднимаются со дна разогретой на солнце и сонной, и сладкой по виду бутылки. Ещё оставалось какое-то время, короткое, гиблое, мутное время, которое люди, всегда готовые спрятаться от самих себя, желали прожить беззаботно, с размахом. Недавние успешные наступления русских армий улучшили дисциплину солдат и подняли настроение мирных жителей. Советы рабочих и солдатских депутатов вели себя тихо. Троцкий был арестован, Ленин скрывался по шалашам и буеракам, питался кореньями в дикой Финляндии. Тут-то, на просторе, на розовом, свежем, искристом морозе, москвичи начали кутить. Клубы и ипподром были переполнены, рестораны работали до глубокой ночи, в луна-парке царила неповторимая Иза Кремер, красавица с узкими, без белков, глазами и жёсткими – жёстче лошадиного хвоста – волосами, которые она носила всегда распущенными. Очень оживились и окрепли дома свиданий. Стыд был мягко, но настойчиво отодвинут в сторону, и люди восторженно вспомнили, что можно и так: без венца, без детишек. Вот есть я: мужчина, и ты вот есть: женщина. И жить будем в полном согласье с природой. Природа оказалась в большой моде, на неё постоянно ссылались, и многому сразу нашлось объяснение. Из всех гостеприимных и приветливых домов свиданий особенным успехом пользовался один, расположенный неподалеку от Донского монастыря и потому остроумно называвшийся «Святые номера». Несмотря на холодную, а иногда и очень даже ветреную погоду к задней двери «Святых номеров» тянулась большая смущённая очередь, в которой притоптывали каблучками прячущие лица в боа или под густыми вуалями совсем молодые, чудесные девушки, в то время как верные их кавалеры, сгрудившись у главного входа, показывали стоящему у дверей бравому молодцу с орлиным профилем пяти- и

даже десятирублёвые бумажки, прикладывая их к морозному стеклу, и весело, просительно улыбались. Бравый молодец выбирал купюру побольше и быстро пропускал в дверь нетерпеливого счастливецца. У лестницы, покрытой потёртой, но всё ещё красно-красной дорожкой, к нему присоединилась заждавшаяся и раздурманенная от холода возлюбленная.

И всё Рождество прошло ярко и сытно. Откуда-то вновь вдруг появились рассыпчатые эти сладости, пирожные и марципан в шоколаде, изюм и дюшес, виноград и орехи, запенилось шампанское, запахло горячими пирожками с мясом и грибами на уличных снежных лотках, а женщины в мелких, коротеньких локонках затягивались поясами так туго, что стали похожи на ос: те же две половинки.

В синема по вечерам было иногда не протолкнуться. Неутомимый Протазанов, напрочь позабывший Владимира Шатерникова, когда-то сыгравшего графа Толстого, а после отдавшего жизнь за Отечество, снял чудную фильму с актрисой Гзовской под названием «Её влекло бушующее море», где актриса Гзовская, женщина нежная и кроткая с виду, зато роковая по многим привычкам, сыграла мятежную Нелли. С большим успехом прошла и другая фильма – «Андрей Кожухов», где роль отчаянного народовольца Андрея Кожухова, вдохновенно изображённого писателем Степняком-Кравчинским, взял на себя любимец публики, её вечный романтический кумир Иван Мозжухин, артист очень известный. Многие москвичи не стеснясь рыдали, когда широкоплечий, со своими тёмно-серыми, жгуче обведёнными глазами, в рубахе, раскрытой на голой и гладкой, без единого волоска, груди, Мозжухин восходил на эшафот, где на его актёрской шее тут же затягивалась петля. Строго говоря, петля эта должна была бы затянуться на шее самого Степняка-Кравчинского, который однажды среди шумного бала зарезал кинжалом Мезенцова за то, что тот был шефом царских жандармов. Вот так и зарезал: спокойно, как курицу.

Его бы, конечно, тогда наказать. А как наказать? Непокойный, кудрявый, на Маркса похож, как на брата. Уехал в Швейцарию, там и женился. Стал книги писать, очень важные книги. Погиб, как Каренина, под паровозом, однако же вскоре был увековечен: многолетняя привязанность судьбы его, Этель Войнич, которую неутомимый Степняк прямо в присутствии жены своей Фанни и Фанниной кроткой сестры Маргариты обучал русскому языку, вскоре после трагической гибели любимого друга, наставника, брата посвятила ему роман. Запутанный, правда, немного, но мощный. Название: «Овод» (ну, вроде как: «Муха»!). Кравчинского в Оводе сразу узнали.

Пока в سینема шли прекрасные фильмы, пока танцевали, крутили романы, невидимо, тихо, с кровавой прожилкой внутри темноты, серебра, содроганья стелились над миром потери и муки. За что? Мы не знаем. Мы здесь, очень низко. Под нами лишь камни, песок да болота. Опустись вниз голову: пахнет землёю.

Но всё ведь написано. Не усомнишься.

«Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошёл... Ты, как наводнением, уносишь их, они – как сон, как трава, которая утром вырастает, цветёт и зеленеет, вечером подсекается и засыхает... Дней лет наших семьдесят, а при большей крепости восемьдесят лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас счислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое».

(Псалтырь, псалом 89)

Как ни прекрасны были дни Рождества, как ни торжественны звёздные ночи, ни зелены хвойные ветви, украшенные шарами, гирляндами и бусами, ни безумно, почти истерически веселы именины и журфиксы в богатых и в очень богатых московских домах, но и им наступил конец. Январь был холодным, жестоким. Даже в том, как он сверкал и как переливались его хрустали, облепившие окна, карнизы, лавочки в скверах, заборы уютного Замоскворечья, не было покоя. Не было тишины. Все ждали чего-то: и люди, и птицы. А птиц было множество, как никогда. Старожилы крутили головами, удивлялись, откуда их столько: одно воронье. И каркают, каркают, как проклинаяют. Ходила по рукам прекрасно, на тонкой бумаге, со множеством картинок, изданная книга анонимного автора: «Волшебство и магия. Объяснение таинственных фокусов, физических, химических, оптических, карточных опытов и из области спиритизма и гипнотизма». На спиритических сеансах часто вызывали Распутина, и он приходил, никогда не отказывал. Частенько был пьян, непристойно ругался. А поскольку никто из живущих в этом городе людей не представлял себе, как именно выглядит конец света, то и в голову никому не приходило, что именно в эти недели, через которые проползала зима, волоча на своём сверкающем хребте ломкую и крикливую жизнь, свершался конец всего белого света.

Таня Лотосова не видела Александра Сергеевича и не знала, что с ним. Когда она думала о нём, с ней происходило то, что происходит с человеком, у которого резко поднимается температура: сухой сильный жар во всём теле и дикий стук сердца, не только в груди, а везде, даже в пальцах. Гуляя за руку с сыном, закутанным в беличью шубку и сверху обвязанным тёплым пуховым платком (стояли морозы!), она боялась, что Александр Сергеевич вдруг может выйти из какого-нибудь дома ей навстречу, или догнать её в заснеженной аллее сквера, или окликнуть, когда она, опустившись перед Илюшей на корточки, поправляет на нём платок и шапку.

Если бы хоть кто-то, хотя бы один человек на земле, знал, как он ей нужен! Хотя бы увидеть его! Но нельзя. Эта ночь, когда она, глядя прямо в небо, с содроганием выбрасывающее из черноты короткие и ветвистые вспышки молний, умолила Господа не отнимать у неё ребёнка, стояла в душе, словно крест на дороге. Нельзя идти дальше, не перекрестившись.

Сестра Дина совсем отдалилась от неё, и это тоже причиняло боль. Боли было слишком много, хотелось зарыться куда-нибудь, спрятаться. Куда? Только в тёплые кудри Илюши. Спаси, моё счастье, спаси свою маму.

– Мужа ей надо, – шептала няня, и мелкие слезы катились по её морщинистым щекам. – Куда же одной-то?

А Дина при этом цвела, расцветала. Когда, вернувшись, например, с катка, снимая перед зеркалом тёплые ботинки и стряхивая снег с волос и жакетки, она смотрела на себя в зеркало, глаза её приобретали особенно гордое и слегка презрительное выражение. Все мужчины на катке, начиная с отцов семейств, катавшихся для моциону, и кончая потными, радостными гимназистами, замечали её и, заметив, начинали вести себя странно: то падали, то спотыкались, то глупо краснели, то обгоняли её с одною-единственною целью: быстрее обернуться, увидеть лицо. И падали многие, и спотыкались. А дома всё было тоскливо, тревожно. Все, кроме Илюши, вызывали досаду, удерживая которую Дина быстро опускала глаза, чтобы не взорваться. С матерью она почти не разговаривала, а когда та сказала, что не одобряет её желания поступить на сцену, легко заявила, что съедет с квартиры и будет снимать себе комнату. Мама промолчала.

Два года назад актриса Малого театра Одетта Алексеевна Матвеева открыла драматическую школу, которая занимала этаж большого дома Фабрициуса на

Арбатской площади. В школу приглашались молодые люди от восемнадцати до двадцати восьми лет. Дина Зандер была принята.

Одетта Алексеевна отнеслась к её сценическому дарованию весьма сдержанно.

– Вам, милая, трудно играть других людей, вы не готовы к тому, чтобы отказываться от себя. А в театре нельзя быть эгоистами, театр задуман как щедрость, отдача.

Гордая Дина плакала в подушку и утром выходила к чаю с чёрными кругами под глазами. Ей нужно было стать первой в этой проклятой драматической школе, где маленькая худощавая женщина в круглых очках, у которой, однако, был собственный автомобиль с шофёром и молодой любовник, постоянно делала ей тихие, но строгие замечания.

– Вот вы – Катерина, – спокойно говорила Одетта Алексеевна, устало снимая очки и протирая их кружевным платочком. – Вы мужа не любите. Представьте себе, как вас пугает это открытие: вы не любите своего мужа. Ну! Я вас слушаю.

– Тиша! – громко и властно начинала Дина Зандер. – Голубчик мой, Тиша! Как же я без тебя?

Одетта Алексеевна делала отрицательное движение своей очень белой, как будто она только что обмакнула её в муку, маленькой рукой.

– Не нужно так громко. Вы его не любите и в глубине души только и мечтаете, когда он уедет. Потому что в овраге над Волгой вас ждёт другой человек. И к этому человеку вы сейчас побежите. Попробуйте снова.

Дина стискивала зубы и с ненавистью смотрела на неё.

– Хотите, я вам покажу? – снисходительно, словно и не замечала её сверкающих глаз, спрашивала Одетта Алексеевна. – Смотрите.

Она снимала очки и прижимала руки к груди. Лицо её становилось растерянным.

– Тиша! – негромко говорила она, глядя в пол. – Голубчик мой, Тиша! – В голосе Одетты Алексеевны проступали истерические нотки, но лицо не изменяло своего растерянного и недоверчивого выражения. – Как же я без тебя?

Дина вспыхивала от стыда: такого она не умела.

– Попробуйте дома, у зеркала, – надевая очки и вновь усаживаясь в кресло, роняла Матвеева. – Старайтесь забыть, что вы на сцене, вы в душном купеческом склепе. В глубокой и страшной провинции. Ну, приступайте!

Зимой 1917 года Дина познакомилась с Николаем Михайловичем Форгерером, полная фамилия которого была Форгерер фон Грейфертон.

В комнату вошёл высокий худощавый человек, при виде которого ученицы почувствовали волнение. Он не был красив, но в сильном лице его с большими чувственными губами и широким славянским носом, неожиданным для такой фамилии, была уверенность в том, что женщины всегда будут волноваться, когда он так входит. С порога обежав этими сразу же заблестевшими глазами учениц Одетты Алексеевны Матвеевой, которая при его появлении достала свой кружевной платочек и прижала его к губам, словно желая спрятать то ли насмешку, то ли счастливую улыбку, он шутливо поклонился им, тряхнув своей большой, с гладким и широким лбом, головой. Взгляд его остановился на Дине Зандер.

– Николай Михайлович согласился помочь мне в благородном старании сделать из вас драматических актрис, – так, словно она кого-то передразнивает, произнесла Одетта Алексеевна, и болезненная краска выступила на её щеках. – Он будет развивать в вас умение владеть своим телом на сцене, пластику движений и... – Она запнулась. – Да он вам и сам объяснит...

– Посмотрите на меня, – мягким и глубоким голосом попросил Николай Михайлович. – Кого вы видите? Вы видите пожилого и уставшего человека весьма некрасивой наружности, не так ли?

Ученицы покраснели и переглянулись.

– Да, так, – твёрдо и весело сказал Николай Михайлович. – А теперь я хочу обмануть вас. Я не хочу, чтобы вы видели некрасивого старика. Хочу, чтобы вы

видели прекрасного, полного сил молодца.

Будущие драматические актрисы хихикнули. Николай Михайлович сделал какое-то резкое акробатическое движение, как будто бы снял с себя кожу, и ученицы увидели перед собою другого человека. Этот человек безжизненно опустил руки, полузакрыв глаза и принялся легко, почти не касаясь пола, отбивать чечётку. Лицо его становилось всё моложе и моложе, движения всё быстрее. Волосы упали на большой и широкий лоб, глаза стали ярко-зелёными, как у кошки. Одетта Алексеевна махнула рукой и вышла из комнаты. Чечётка остановилась.

– Бывали ли вы на Украине? – слегка задыхаясь, спросил Николай Михайлович. – Хотите увидеть, как парубки пляшут? Смотрите.

Он сбросил пиджак, оставшись в одной белой рубашке, упёр руки в боки, присел на корточки и быстро прошёлся вприсядку. Девушки ещё больше смутились и захлопали в ладоши. Им было неловко, что такой солидный господин разыгрывает перед ними целое представление.

– В каждом из нас, – надевая пиджак, тем же мягким и глубоким голосом сказал Николай Михайлович, – живёт по крайней мере шесть-семь разных человек. Академический театр в силу омертвелости своих форм не в состоянии вытащить из актёра всё богатство его перевоплощений. Наше тело не догадывается о своих возможностях и оттого является своего рода клеткой, в которой томятся неизвестные звери. Вы догадываетесь, о чём я говорю?

– О чём? – вдруг громко спросила его Дина Зандер. – Какие звери?

– Это метафора, – улыбнулся Николай Михайлович и пристально посмотрел на неё. – Вы знаете, что такое метафора?

Дина ярко покраснела.

– У нас в гимназии русскую словесность преподавал Александр Данилыч Алфёров, – с вызовом сказала она.

– Тогда всё понятно, – кивнул он. – Не имею чести знать господина Алфёрова, но, судя по вашей горячности, вам этот предмет хорошо знаком.

Дина опустила голову и исподлобья посмотрела на него.

– Пантера, – сквозь зубы пробормотал Николай Михайлович, словно бы и не беспокоясь, что его могут услышать. – Итак, мои милые барышни, с завтрашнего дня мы с вами начинаем познавать истинный театр. Театр, возникший в глубокой древности, в пещерах первобытных людей, не боящихся обнажать свои инстинкты и передвигающихся по земле, как передвигаются животные, которым не мешает никакая одежда.

Глаза его опять остановились на Дине Зандер.

– И посему наши репетиции будут проходить в таких вот трико, – просто сказал Николай Михайлович и достал из портфеля чёрное подобие женского купальника. – Работать мы будем под музыку.

Одетта Алексеевна дожидалась его в своём кабинете, где топилась большая кафельная печь, хотя на улице было совсем не холодно.

– Я зябну всё время, – протянула Одетта Алексеевна, одной рукой снимая очки, а другую прикладывая к печным изразцам. – Никак не согреюсь.

– У вас холодные глаза, Оня, – низко и значительно произнёс Николай Михайлович. – От ваших глаз мне становится холодно.

– Не называйте меня Оней! – яростно прошипела Одетта Алексеевна. – У вас давным-давно нет на это никакого права!

– Привычка, – усмехнулся он. – Простите, не буду.

– Как вы легко согласились! – вспыхнула она. – Как вам это всё безразлично!

– Что – всё? – прищурился он.

– Всё, – прошептала Одетта Алексеевна, и слёзы полились по её лицу. – Всё!

– Ну, будет тебе, – устало сказал Николай Михайлович и большой, красиво вылепленной ладонью погладил её по щеке. – У нас был красивый чудесный роман, от которого остались великолепные воспоминания. Что Бога гневить? Ты, слава Богу, не одна, мальчик этот, говорят, тебя обожает, денег хватает. Вот школу открыла. На что тебе жаловаться?

– Николенька, – всхлипнула Одетта Алексеевна и, схватив его руку, вдруг поцеловала её. – Всё верно, что вы говорите, и всё неверно! Отчего же так душа болит, если всё хорошо? Я сегодня тебя чуть не ударила. Ей-богу, еле сдержалась, когда ты эту девицу так и раздел глазами! Ах, как ты подло устроен, как низко! Ну, признайся – ведь ты её уже из своих лап не выпустишь? Я, кстати, не знаю – теперь-то у тебя кто? Свято место пусто не бывает.

– Да никого... – отмахнулся Николай Михайлович. – Всё то же: сначала пылаю, а день, два и – пусто. Сглазили меня, Оня.

Одетта Алексеевна прижалась виском к его плечу и всхлипнула.

– Вот ты всё – театр, театр, новые формы... А я с тобой такому театру научилась!

– Иронии, Оня, побольше иронии! – весело оборвал её Николай Михайлович и осторожно высвободил своё плечо. – Пока люди не научатся пародировать самих себя, они так и будут несчастны. А вся наша жизнь – буффонада!

– Я никогда этого не пойму! – прошептала Одетта Алексеевна, закрыв глаза. – Почему же буффонада? Ведь если есть боль, если смерть? Что уж тут пародировать?

– Давай заключим с тобой, Оня, пари. На эту девицу. Ну, как её? Зандер? Ты утверждаешь, что красивая молодая женщина непременно должна глубоко переживать свои любовные отношения, платить, так сказать, сполна, так? А я тебе докажу, что если правильно повести дело, то и самая чувствительная из этих совсем ещё юных и свежих цыпляток сумеет, воспользовавшись тем запасом здорового цинизма, который есть в каждом из нас, пережить любой, самый бурный, роман как театральный спектакль.

– Но только не Зандер! – перебила его Одетта Алексеевна. – Там бешеный норов!

– Тем лучше, тем лучше, – присвистнул Николай Михайлович. – На что мы поспорим?

Одетта Алексеевна прищурила свои холодные близорукие глаза:

– На что? На «Абрау Дюрсо»? Ведь вы за здоровый цинизм?

– Да где же я шампанского раздобуду в военное время? Ты меня, Оня, просто под монастырь подводишь!

– Зачем вам шампанское? Ведь вы же уверены, что не проиграете? – насмешливо спросила она.

– Я, Оня, как наше Отечество: пру напролом, а что будет, не знаю!

Няня говорила, что у матери «тоска», а Дина совсем «взбеленилась». Алиса Юльевна плакала по ночам, боялась революции. Отец возвращался из госпиталя под утро и сразу валился спать. Иногда до Тани доносились обрывки родительских разговоров: мать была раздражена, отец терпелив, но измучен. Брат Оли Волчаниновой допился до белой горячки, и его чудом спасли, вынув из петли в чулане. На столе была обнаружена записка: «Больше не могу без света».

Зима внезапно закончилась, и облака, похожие на кудрявые овечьи головы, края у которых то были оранжево покрашены весенним солнцем, то, словно только что извлечённые из парного молока и неотжатые, тепло и волнисто светились, проплывали над Москвой, стараясь не задерживаться, боясь зацепиться за колокола, спешили, летели, как будто страшились, что этих родившихся в небе овечек убьют и замучают.

Весной начались перебои с продуктами. В усадебной оранжерее Кузьминок, которая кормила весь военный госпиталь огурцами и зелёным луком, отцу, как самому уважаемому из врачей, каждую неделю давали с собой в город большой пакет оранжерейной зелени и маленьких, кривых, пупырчатых огурцов. Алиса Юльевна, повязанная платком поверх шляпки, в чёрных очках, прячущих весенние ячмени на глазах, ездила за город на извозчике и возвращалась с купленной втридорога банкой сметаны. С ребёнка Илюши сдували пылинки.

Что-то совершалось в мире вокруг, выросло прямо из-под земли с такою безжалостной чувственной силой, что город, казалось, дрожит от напора, и люди заметно бледнели, в их лицах появилось заносчивое и одновременно растерянное выражение, словно они понимали, что с каждой секундой приближаются к какому-то не ими принятому решению, что их уже крутит, ломает, корёжит, но делали вид, что ничуть не боятся.

Такого одиночества, как сейчас, Таня никогда не испытывала. Мама была дальше, чем даже тогда, когда Таня подрастала тут, на Плющихе, а мама со своим Иваном Андреевичем и новенькой дочкою Диной лежала в германских целительных ваннах, о Тане нисколько не думая. Теперь мама сидела в своей спальне, читала там что-то и, кажется, плакала. Почти каждый раз, проходя на кухню, Таня слышала доносящиеся из спальни тихие всхлипывания. Ей хотелось войти без всякого стука, обнять свою маму и тоже заплакать. Тогда она учащала шаги, чтобы не сделать этого. Отец, который, казалось, ни на что в доме почти не обращал внимания, однажды сказал между делом:

– Ты, может быть, думаешь, что гордость – это такая замечательная и редкая вещь? Совсем наоборот, совершенно! Это вещь – глупая, продиктованная раздутым представлением о собственной персоне, и больше ничего! Учти, пожалуйста: нельзя обидеть того, кто не хочет быть обиженным. Точно так же: нельзя и унижить, если человек знает, что его нельзя унижить. И унижение, и обида живут только внутри нас, а не привносятся извне, ты это запомни.

Таня, нагнув голову и краснея, посмотрела на него:

– Чем же это я гордая?

– Как – чем? Ты отлично знаешь, что оскорбила маму. Сорвалась на ней. И тебе уже самой не по себе, потому что душа у тебя хорошая. Я тебя вырастил, я знаю. Не спорь! Ты хорошая, добрая. Незлопамятная. Теперь ты бы и хотела помириться, но гордость мешает. Вот я тебе и попытался объяснить... И Дина такая же, только похуже.

– Гордая? – краснея, уточнила Таня.

– О да! До стервозности, – спокойно ответил отец. – Про таких людей говорят, что они ребёнка вместе с водой из корыта выплёскивают.

Форгерер Николай Михайлович признавал, что он человек больших страстей. Театр был одной из них, но не главной. Главной страстью были женщины и музыка, которые странно сплетались в его сознании, потому что, вспоминая прошлые привязанности, Николай Михайлович вспоминал не тела, не голоса, не даже лица любимых и разлюбленных женщин, он вспоминал ту особую, никогда не повторяющуюся музыку, которая сопровождала каждую из них и звучала в нём, пока он был с этой женщиной и думал, что любит её. Самая бездарная и скучная полоса отношений наступала тогда, когда музыка вдруг обрывалась. Он не мог объяснить себе, как и отчего это происходило. Была, скажем, ночь, или, скажем, был вечер. Блистание снега, луна, шелест листьев. Была неповторимая, как казалось ему в эту минуту, сладость женского тела, вкус губ, глаз, волос. Страшное содрогание любви, блаженство усталости, сон, поцелуи. Он возвращался домой, наполненный пережитым. Особую остроту придавало то, что почти все его пассии были замужем, и он ломал голову, как вырвать очередную из рук рогача, соединить с нею жизнь и каждую ночь наслаждаться вот этим – о, только вот этим! – вакхическим телом. При этом музыки в душе было так много, что Николай Михайлович шёл к себе в спальню на цыпочках, полузакрывши глаза, чтобы ни один посторонний звук не мешал ему.

Утром он просыпался и чувствовал пустоту. Ни сама женщина, ни то, что ещё несколько часов назад было связано с нею, не трогали и не волновали. Вместо музыки он слышал всё то, что одновременно с ним слышали остальные люди: шорох догорающих поленьев в печи, шуршание газеты, шаги прислуги, звяканье чайных ложек. Горячий туман, застилавший зрение, рассеивался, и Николай Михайлович видел в зеркале своё небритое и невыспавшееся лицо, складки на шее, тёмные круги под припухшими глазами. Сознание возвращало ему возлюбленную во всей вожденной её красоте, и тут же что-то начинало скрести внутри с такой силой и равномерностью, с которой дворник скребёт снег лопатой. Без усталости, шибко, размашисто. Вчерашнее драгоценное лицо бледнело, тускнело, рассыпалось, и воображение Николая Михайловича поспешно сгребало подробности в кучу: вот губы, вот волосы, вот милый запах. Одно оставалось: желание вырваться.

О, сколько было слёз, которые он и не пытался осушить! Сколько раздавленных болью голосов в телефонной трубке и сколько угроз, сколько жгучих проклятий!

Он каменел. Объяснить, что, как и почему, он всё равно бы не смог.

– Какая-то странная у вас физиология, – сказал ему однажды знакомый студент-медик, которого убили, к сожалению, в самом начале войны. – Вы неизлечимы.

Николая Михайловича лечил театр. Он стал приверженцем биотанца, особого вида физического и духовного самовыражения, которому обучился в Индии. Оттуда же, из далёкой и сказочной этой страны, Николай Михайлович привёз себе друга – Шриму Гападрахату, женственного, оливково-смуглого, молодого по виду, а на самом деле семидесятилетнего человека, отца, если верить, двухсот сыновей, который при содействии Николая Михайловича открыл в Москве курсы восточного биотанца. Курсы поначалу пошли очень хорошо. Шрима Гападрахата, весь в белом и лёгком, сквозящем, как воздух, с полузакрытыми выпуклыми глазами, с плывущей из-под коричнево-голубоватых век таинственной, мудрой и вечной истомой, подражал леопардам, извивался, как змея, вставал на кончики больших пальцев ног и вдруг, как подкошенный, падал на пол, где даже и тонкого коврика не было. Музыка звучала при этом однообразно-сладкая, немного плаксивая, как тонкий и жалобный дождь, который вот-вот перестанет идти, а нет, всё идёт, всё струится, всё плачет.

На курсы записывались дамы средних лет и даже постарше, чем средних, немного совсем гимназистов, которых просвещённые родители желали как можно быстрее и основательнее раскрепостить, трое замученных собственными жизненными ошибками, которых уже не исправишь, государственных служащих и несколько просто случайных людей, которые тоже чего-то искали. К сожалению, это прекрасное, хотя и несколько чуждое для северного города учреждение пришлось закрыть, поскольку один гимназист, научившийся так перевоплощаться в леопарда, что и родная мать, вернувшись из джунглей с охоты, не могла бы с уверенностью определить, где гибкий пятнистый зверёныш, а где человеческий мальчик, до обморока напугал свою старую родственницу, ворвавшись к ней в комнату с рыком и воем. Бедная увядающая дама, пролежавши несколько часов в беспамятстве, очнулась и с прыгающими губами, в измятом халате и войлочных туфлях бегом побежала в полицию.

Курсы закрылись, и Шрима Гападрахата вернулся обратно в далёкую Индию. Оставшись без друга, а также наставника, Николай Михайлович решил, что найдёт способ применить прекрасное начинание в театре, и Одетта Алексеевна с её предложением поучаствовать в деле драматического преподавания пришла как нельзя более кстати.

Вчера эта девочка с дикими сиреневыми глазами поразила его. В душе зазвучала жаркая, ни на что не похожая музыка, и сердце начало тихо, но отчётливо разрываться от приближения знакомого восторга. Эту девочку нужно было немедленно прижать к груди и поцеловать в губы. А руки при этом продеть в её волосы. И дальше всё так, как обычно.

На следующий день смущённые ученицы театральной школы Матвеевой, облачённые в одинаковые чёрные костюмы, которые вытягивали и удлиняли их и без того хрупкие, удлинённые фигуры, с опущенными руками стояли перед Николаем Михайловичем и ждали начала урока. Дина Зандер, перекинув через плечо туго заплетённую, бронзового цвета косу, смотрела на него исподлобья. Николай Михайлович завёл граммофон, который, слегка пошипев для порядка, заладил липучее, сладкое: «и-и-и...»

– Мы змеи, – негромко сказал Николай Михайлович. – Мы все – ядовитые хищные змеи. Сейчас мы ползём по горячей пустыне.

Он лёг на пол и пополз, слегка вздрагивая, как будто бесшумное пламя ему обжигало живот и колени. Будущие актрисы увидели довольно крупную и очень подвижную змею, которая в любую минуту могла выбросить изо рта ядовитое жало. Они испуганно переглянулись.

– Прошу вас: за мной, – сильным мужским голосом Николая Михайловича сказала змея. – Ползите за мной, не стесняйтесь.

Ученицы театральной школы осторожно легли на пол и поползли.

– О нет! Всё не то, – поморщился Николай Михайлович и встал во весь рост. – Ползите быстрее, извивайтесь! Вы змеи!

Дина Зандер, которая одна из всех продолжала стоять, издала какой-то пискнувший звук, как будто подавила в горле то ли смех, то ли слёзы. Николай Михайлович быстро оглянулся на неё.

– Что с вами? – спросил он, понижая голос, словно между ними существовала какая-то тайна. – Вам разве не интересно перевоплощение? Оно есть основа

театра.

– Основа театра – талант, – вспыхнув, ответила Дина и тоже немного понизила голос. – А здесь... Это просто какая-то глупость.

Николай Михайлович близко подошёл к ней. От девушки пахло черёмухой. Музыка, которую он слышал сейчас внутри своего разгорячённого тела, стала настолько громкой, что на секунду он удивился этому и даже слегка испугался. Такого оркестра ещё не случалось.

– Я очень хотел бы доказать вам, что талант в нашем деле зависит исключительно от умения перевоплощаться, – слегка задыхаясь, сказал Николай Михайлович. – И та радость, то счастье, которое мы испытываем, то ни с чем не сравнимое счастье целиком зависит только от того, насколько мы способны преодолеть границы своего природного «я»... И слиться с другим существом. Взять и – слиться.

Опять она посмотрела на него исподлобья своими дикими сиреневыми глазами. Николай Михайлович с трудом удержался от того, чтобы не подойти ещё ближе.

– Зачем мне ползти, как змея, если мы Островского сейчас репетируем? – спросила Дина Зандер и кончик бронзового цвета косы прикусила вишнёвыми губами.

– Островский ни при чём, – бледнея, как тающий снег на бульваре, прошептал Николай Михайлович. – Когда вы сегодня закончите классы?

Она удивлённо сверкнула на него фиолетовым огнём. Он больше не видел её, только запах черёмухи...

– Сегодня в четыре, – сказал её голос.

– Тогда подождите меня здесь, в классе, – поспешно попросил он. – И я объясню вам основы театра. А то вам и впрямь будет трудно в этюдах... Вернее... Ну, вы всё поймёте...

И он отошёл. Так стремительно, что чуть было не наступил на одну из ползущих и судорожно извивающихся, совершенно перевоплотившихся учениц.

Этот день, восьмое марта, был серым, но тёплым, и солнце, которое сначала осветило снег, и он заблестел тускловатым опалом, сокрылось за тучу. И начало капать с сосуллек, с крыш, с белёсого неба. Кто-то словно оплакивал угрюмую землю с её куполами, с её стариками, которым придётся вот-вот уходить, но только, куда уходить, неизвестно...

Таня, Алиса Юльевна, мама и няня сошлись, как обычно, в столовой к обеду. Алиса Юльевна разлила суп по тарелкам и, покраснев, сказала, что картошка была очень мелкая и даже частично гнилая, поэтому суп, может быть, не удался. Как раз в эту минуту раздался звонок в дверь, и, вся мокрая, стряхивая капли с волос, в столовую вошла Оля Волчанинова, сказала, что она на минутку, обедать не хочет, а хочет поговорить с Таней.

В детской она опустилась на стул и зарыдала.

– Да тише! Илюшу разбудишь! – зашикала Таня.

– Ну, так пойдём отсюда! На кухню пойдём. Там ведь никого нету? – давясь слезами, прошептала Волчанинова.

На кухне хорошо пахло свежесваренным чаем, который в доме Лотосовых ещё не научились экономить.

– Татка, он всех нас уморит! – широко раскрывая глаза, застонала Волчанинова. – Он маму совсем добивает!

– Кто? Петя?

– А кто же ещё? Сегодня утром ввалился ко мне в комнату, пьяный опять, опухший и – бух на колени! «Застрели меня, – говорит, – сестрёнка! Сделай такую милость! Боюсь: не попаду!» Я плачу, обнимаю его, он весь так трясётся, трясётся, горячий, как будто у него жар, а худой какой! Я ему говорю: «Петруша, но ты пойми, ведь война, ведь ты сам говорил, что тот не мужчина, кто во время

войны не Отечество защищает, а на диване отлёживается! Ведь ты сам на эту проклятую войну записался! И слава Богу, – говорю, – что ты только зрения лишился! Других и совсем убили!» – «Ах, – кричит, – да если бы меня убили! Да я бы того человека озолотил!» – «Что ты, – говорю, – мелешь! Слушать тошно! Озолотил бы он! Жизнь – это же чудо такое! Ведь если Бог тебе жизнь дал, как же ты её отнять у самого себя хочешь?»

Волчанинова не могла продолжать: слёзы душили её.

– А он что? – не поднимая на неё глаз, пробормотала Таня.

– Мама сейчас в Алексеевскую больницу поехала за доктором, пусть ему хоть лекарство дадут! Ведь сил у нас нету смотреть на него!

– В Алексеевскую? – И Таня темно покраснела.

– Там доктор какой-то, его очень хвалят. Мы звонили, звонили, а у них телефон то ли отключён, то ли вообще не работает! И поэтому мама поехала сама, будет просить доктора к нам. Петька ни за что туда не пойдёт, не силой же его тащить!

– Ты его одного сейчас оставила?

Оля Волчанинова громко всхлипнула:

– Татка, ну хоть бы ты меня пожалела! Я с ним боюсь одна дома сидеть! А вдруг он руки на себя наложит?

– Немедленно пойдём к нему! – решительно сказала Таня и сразу пошла в коридор одеваться. – Мама! Последи за Илюшей! Я быстро. Мне нужно по делу.

Она сама услышала власть в своём голосе, и её обожгло: ни с кем на свете она не чувствовала себя так дерзко и уверенно, как с матерью.

До Второго Вражского переулка они почти бежали. Снег таял, расплзался под ногами, и такое тоскливое, такое безнадёжное марево из пустого, едва заметного неба, которое словно стремилось упасть на все эти крыши и ветки

деревьев и тихо, и мягко звенело не то очень ранним дождём, не то очень поздним, безрадостным снегом – такое пустое, такое тоскливое что-то висело над миром, как будто уже и не будет ни лета, ни светлой весны, ни прекрасного пенья, а будет одно: этот снег, этот дождь и спившийся, ослепший Петруша, который зачем-то пошёл на войну, а там, на войне, его и ослепили...

У самого дома Волчаниновых Таня вдруг остановилась:

– Мне нехорошо. Голова кружится!

Оля Волчанинова посмотрела на неё умоляющими глазами. Она потянула на себя дверь, они вошли в парадное, и Таня услышала сверху его голос.

– Если вы не перестанете пить, вы и так очень скоро умрёте! – сердито говорил Александр Сергеевич. – Не стоит даже и беспокоиться!

Таня поднялась по лестнице следом за Олей. В гостиной всё выглядело так, как обычно, и так же мерно и громко стучали настенные часы с кудрявым, пузатым, весёлым Амуром. Бледный как смерть Петя Волчанинов, в котором было не узнать спокойного, слегка меланхоличного и очень добродушного мальчика, так знакомого Тане по детству, что даже само имя Петя всегда приводило то к ёлке с огнями, то к заиндевшим прогулкам по скверу, то к запаху вишен, ссутулившись и плача, сидел на диване и обеими дрожащими руками прижимал к голове мокрое полотенце. Спиной к вошедшим, не обернувшись даже на звук их шагов, стоял Александр Сергеевич Веденяпин, которого Таня не видела ровно восемь месяцев и четыре дня и которого она любила так сильно, что любое, даже мысленное прикосновение к этой любви вызывало боль, останавливающую дыхание.

– Я бы забрал вас к себе в клинику и продержал бы там месяц-другой, – сердито продолжал Александр Сергеевич, – но сейчас не то время, чтобы возиться с распущенными, никого, кроме себя, не жалеющими субъектами! Мне стыдно за вас. Вы храбрый военный человек, прошли через страшные вещи, видели перед собою смерть, теряли товарищей, вы, слава Богу, выжили, вернулись, у вас мать, которая не чаёт в вас души, у вас сестра-девушка...

Он обернулся. Таня прислонилась к двери. Та доля секунды, которая соединила их взгляды, плеснула в зрачки кипятком.

Потом Волчанинов сказал:

– Всё верно, что вы говорите, а страшно...

– Да, страшно, – хрипло повторил Александр Сергеевич. – Вы правы, голубчик. Всё страшно...

Он наклонился над Волчаниновым, отвёл его дрожащие руки, снял и бросил на пол мокрое полотенце.

– Вы всё же не плачьте, – совсем другим, тонким, молодым и прояснившимся голосом сказал Александр Сергеевич и сделал такое движение, как будто он хочет обнять этого пьяного Петрушу. – Я дам вам лекарство, и вам станет легче. И сам навещу через несколько дней.

Волчанинов обеими руками вцепился в его локоть и зарыдал. Его мать, бывшая тут же в комнате, громко всхлипнула.

– Мама! – сквозь рыдание прокричал Волчанинов. – Не буду я вешаться! Слово даю вам!

Когда Таня вышла на улицу, уже темнело, и снег шёл почти как зимой: густо, влажно. Александр Сергеевич стоял, прислонившись к дереву. Он был весь в снегу. Она знала, что он будет ждать до тех пор, когда ей удастся вырваться от Волчаниновых, и не удивилась.

– Люблю тебя, – негромко сказал Александр Сергеевич, не делая ни шагу ей навстречу. – Безрадостно и бесконечно люблю. Ну, что будем делать?

Она вспомнила, как поклялась Илюшиной жизнью, и страх, какого она никогда не испытывала, заколотил её. Ей вдруг показалось, что даже если она просто дотронется сейчас до Александра Сергеевича, просто положит руку на его плечо, там, дома, немедленно что-то случится.

– Не бойся меня, – так, как будто он читал её мысли, сказал он. – Ничего я тебе не сделаю. Того, чего ты сама не захочешь.

– Зачем вам всё это? – прошептала она.

– Что – это? – усмехнулся он и обеими руками стряхнул снег с её шапочки. – Ты знаешь, что написал этот парень в своей предсмертной записке? «Не могу без света». Дурак дураком, а сумел сформулировать! Его же не спросят, зачем ему свет!

– Ничего не нужно делать, потому что...

Нельзя было объяснить ему, почему. Он не должен был этого знать.

– Я пробовал, – просто сказал он. – Я даже и думать себе запрещал. Ничего не помогает. Зависимость. Знаешь, бывает от морфия.

– Но я же не морфий! – вскричала она. – Даю тебе слово, что я никогда больше... Ни за что...

– Да я тебе верю, – кротко усмехнулся он. – Ты только ведь кажешься мягкой, а все вы железные...

Сквозь снег она видела, как меняется его лицо. Оно менялось так, как это бывало и раньше, когда он близко подходил к ней или обнимал её, и лицо его тут же сильно бледнело, а выражение его становилось таким, как будто он теряет сознание.

– Саша! – шёпотом выдохнула она. – Отпусти меня сейчас! Я должна быть дома.

Александр Сергеевич открыл глаза.

– Иди, – сказал он. – Я знал, что ничего не получится. Я и сам понимал, что ты не вернёшься. Наверное, я тогда слишком сильно отпугнул тебя этой своей историей... Не нужно было тебя посвящать во все эти подробности...

– Какие подробности? – вздрогнула она.

– Да вся эта наша с ней жизнь. Сначала я рассказал тебе, как сходил по ней с ума, потом этот фарс с мнимой смертью, потом возвращение... Любого стошнит

от таких откровений. Вон Васька писать перестал...

Он слегка, одними губами, улыбнулся ей и побледнел ещё больше.

- Он больше не пишет домой? - ахнула Таня.

- Она ему сама написала, когда вернулась. Я сказал, что не хочу и не буду. Пусть сама с ним объясняется. Не знаю, что она придумала, но знаю, что письмо было отправлено и Васька его получил. Но ответил он не ей, а мне, и ответил не на её письмо, а на моё, которое я послал ему за неделю до этого. В самом конце он сделал одну маленькую приписку: «Мне гадко от всех ваших игр. Я каждый день вижу, как умирают люди, а ваша жизнь, на мой взгляд, не жизнь, а театр. И подлый театр. Скажи это маме».

- Вы вместе живёте? - вдруг быстро спросила она и тут же прикусила язык.

- Ревнуешь? - усмехнулся он. - Да, вместе.

Она отчаянно затрясла головой.

- Не ревнуй. Она давно выпила из меня всю кровь, высосала мозг и выпотрошила внутренности. Я в ней не женщину вижу, а...

- А кого?

- Неважно.

Он наклонился, схватил пригоршню снега и вытер лицо.

- Илюша твой как?

Таня отшатнулась от него.

- Он жив!

- А он что, болел?

Она быстро кивнула.

– Прошу тебя, – сдавленно сказал он. – Я очень прошу: вернись ко мне. Если бы ты могла хоть на секунду представить себе, что у меня в голове! Какая тоска, Боже мой!

Он опять наклонился, опять зачерпнул снега, с размаху положил его себе на лицо и зажмурился. Она боялась этого человека и любила его. Сейчас, когда он стоял перед ней с закрытыми глазами и она видела, как дрожат его губы, жалость, и нежность, и страх – да, страх сильнее всего! – так раздирали её изнутри, словно бы там, в животе, в груди, в горле, корчилось от боли какое-то живое, отдельное от неё существо, которому она не могла помочь, настолько независима от неё и её поступков была его жизнь. Она положила руки на воротник Александра Сергеевича и тоже закрыла глаза. Они стояли, прижавшись друг к другу лицами, и ни один из них не произносил ни слова.

– Тебе было плохо без меня? – спросил он.

Она кивнула и тут же увидела, как из-под его закрытых век потекли слёзы.

– Я тебя измучил. – Он обеими руками прижал её к себе так крепко, что она задохнулась. – Измучил, а плачу, как баба... Все пьяницы плачут...

– Ты – радость моя, – восторженно забормотала она в его воротник. – Всё будет, как скажешь. Не плачь, успокойся...

Ни одна душа не знает, что её ждет. Душе только кажется, что она чувствует всё, и в этом её сокровенная сила. Потом оказывается, что то, что она чувствовала, было случайностью, а то, что действительно важно, прошло незамеченным.

Весною 1917 года огромное число русских людей отлучили себя от Бога, и кончилось главное: Божия помощь.

Деревья просили дождя или талого снега, но снег очень быстро сошёл, не успев напоить, а дождь словно вовсе забыл о своём назначении. Звери и насекомые, не

будучи даже голодными, съедали друг друга с таким безразличьем, которое им от природы не свойственно. Но люди пошли дальше всех. Они плотоядно признали, что смерть лучше жизни, и выше её, и гораздо значительней. Короче: настала игра, а игра – вещь опасная. Вот даже и в жмурки. Завяжешь глаза и – слепой. Откуда ты знаешь, что будет, когда с тебя снимут повязку? Не можешь ты этого знать. А горелки?

Гори, гори ясно,

Чтобы не погасло!

Стой подоле.

Погляди на поле,

Едут в поле трубачи,

Доедают калачи.

Погляди на небо,

В небе звёзды горят,

Журавли кричат.

Гу, гу! Убегу!

Гу, гу! Не воронь,

Убегай, как огонь!

Откуда на поле взялись трубачи? Куда убегать? От кого и кому? Не знаем, не знаем! Раз сказано – значит, беги.

Весною 1917 года в горелки уже не играли. Бежать – не бежали. Да и некуда было. Со смертью шутили, ей строили глазки, хватали её за бескровные пальцы и всё повторяли, что это – не страшно. А что тогда страшно?

Дина Зандер хотела открыться сестре, но какая-то странная сила словно мешала ей. И это понятно. Люди почувствовали независимость друг от друга, как будто бы вдруг осознали душой, что всем умирать по отдельности. А раз это так, то и жить по отдельности. И все – как ослепли, и все заспешили.

Поэзия кашляла кровью. И музыка – кровью. Готовились к смерти, и та, и другая. Запах крови чувствовался так сильно – особенно по ночам, когда ничто не отвлекает человека от правды, – что много раз за день душились духами и пудрились пудрой. Любили Кармен, Арлекина, всех падших, но только не грязных, а с розой в корсаже. Жизнь стала крошиться, как старые зубы.

Каждый день после того, как Одетта Алексеевна спускалась к автомобилю, где ждал её юноша с острой бородкой и, только она появлялась, к бородке своей прижимал её руку, Николай Михайлович и Дина Зандер возвращались в опустевшее помещение школы драматического искусства, и Форгерер Дину учил мастерству. Она ползала, как змея, прыгала, как тигр, и плавала по полу, словно русалка. Николай Михайлович с закушенной нижней губой не дотрагивался до неё: невидимый Шрима смотрел на него прикрытыми от наслажденья глазами. Он слушался Шриму и не забывал, что сказано в Махабхарате о славном царе Юхитшхире. После войны, унёсшей миллионы жизней, потерявший в битвах своих сыновей, своих братьев и родственников, преданная глубокой печали царь Юхитшхира, порвал на себе и парчу вместе с шёлком, и волосы из бороды и причёски, пока его дед по фамилии Бхишма, лежащий на ложе из стрел, но весёлый, не стал успокаивать внука. Он вмиг доказал неизбежность страданий, а также тщету их, и внук его ожил.

Махабхарата была, разумеется, очень важна для Николая Михайловича, но нирвана, или, как говорил незабвенный мудрец Шрима Гападрахата: «ниббана», была даже ещё важнее. Не будь в душе этой всемогущей нирваны, набросился бы он на тонкую Зандер и всю бы осыпал её поцелуями. И вышел бы грубый скандал, недостойный. Ниббана нас учит чему? Созерцанию. Покою, свободе и вновь созерцанию. Заметил ведь Будда, взглянув на пламя, что бедное пламя в плену возбуждённость? Конечно, заметил. К тому же добавил: «Причина сего возбуждения – топливо». (Легко говорить было жирному Будде, который не видел, не знал Дины Зандер!)

На третьем занятии Николай Михайлович не выдержал, и, когда Дина, худая, слегка даже голубоватая, как будто она под луной загорала, вышла в своем чёрном трико на середину комнаты в ожидании нового драматического этюда, он взял её за локти и развернул к себе. Он был очень красен и ей не понравился, хотя что-то такое она всё же почувствовала, отчего и вырвалась не сразу, а словно давая себе время разобраться в новом ощущении.

– Мадемуазель Зандер, – задыхаясь, сказал он. – Я очень влюблён в вас. Я с ума схожу.

Дина высвободила из его пальцев свои хрупкие локти. Ей тоже немного стеснило дыханье.

– Я вам не верю, Николай Михайлович, – спокойно, в своем обычном насмешливом тоне, ответила она. – Я вообще ни во что это не верю. Ни в какую любовь.

– Позвольте спросить: почему? – уныло вздохнул Николай Михайлович.

– А потому, что всё это есть высшая нервная деятельность и физиология, – надменно ответила Дина, но вдруг покраснела.

– Какие вы глупости говорите, дорогая моя Дина Ивановна! – засмеялся он и сразу стал проще, моложе. – Откуда у вас эти знания? Тоже от господина Алфёрова?

У Дины даже дыхание остановилось.

– Да он... – захлебнулась она. – Да его... Он самый из всех благородный и умный!

– Ну видите, как... – опять погрузнел Николай Михайлович. – Кому-то удалось найти путь к вашему сердечку, а я получился дурак дураком.

– Нет, что вы! – смутилась Дина Зандер. – Вы просто – другой. Вы – актёр, и поэтому...

– Поэтому что? – тихо спросил он. – По-вашему, мне нельзя даже и верить?

– Пойдите! – возбуждённо заговорила она. – Я вам объясню! – И сама взяла его за руки. Николая Михайловича перевернуло, но виду не подал. – У меня есть сестра. Сводная сестра, Тата. У Таты жених был артистом, он умер. Вернее: погиб под Смолянами. Кажется, так. И Тата хранит его письма. Я тоже читала. По письмам не скажешь, что он был артистом. Он был очень умным и очень доверчивым. Он всё ей писал, даже раны описывал...

– Наверное, очень любил, – задумчиво пробормотал Николай Михайлович, вглядываясь в её ставшее совсем детским лицо.

– О да! Разумеется, очень! – горячо воскликнула Дина. – Я к тому говорю, что можно, наверное, быть и артистом...

Она почувствовала, что сказала что-то не то, и ужасно смутилась. Опять этот взгляд исподлобья, сиреневый.

– Но вы же сама собираетесь стать актрисой...

Она замахала обеими руками.

– Да это назло моей маме и только! Она всё хотела чего-то другого, ну, я и решила, что буду артисткой...

Николай Михайлович смотрел в эти взволнованные глаза и не понимал, что с ним происходит. Она была девочкой, маленькой девочкой. Увезти её сейчас в номера или в свою холостяцкую квартиру на Остоженке и там снять с неё эту чёрную кофту, раскрыть её грудь, слегка голубоватую, и впиться в неё, в её тело губами, которыми он уже столько впивался... Он осторожно пожал её горячие руки и отступил на шаг. Она испуганно и удивлённо взглянула на него.

– Я вас очень, очень люблю, – сказал Николай Михайлович Форгерер, прислушавшись к той медленной музыке, которая поднялась из глубины его тела и стала качаться то вправо, то влево, как мягкие травы в морской глубине. – Поверьте, пожалуйста...

– А вы меня словно боитесь, – лукаво прошептала она и, закинув руки ему на плечи, крепко поцеловала его в щёку. – А я вас – нисколько, вы очень хороший.

Летом 1917 года обрушилась на Москву такая жара, которой не случалось больше до самого нашего времени: до лета 2010-го. Сады стали серыми, травы сгорели. Ни птиц и ни рыб, одно страшное солнце: кровавое озеро в огненном море. Немудрено, что именно это жаркое лето будущей глава революционного правительства Владимир Ульянов, по прозвищу Ленин, прожил в шалаше, где

темно и прохладно, близ голубого, глубокого озера. Ещё в шалаше жил соратник, Зиновьев. Жары не любил, но был преданным делу. Утро проводили обычно врозь. Вылезши на траву и оглядевшись, убеждались, что в озере нет никого и в лесу никого, а в небе плывут облака и летают синицы. Позавтракав скромною горсткою ягод, брели кто куда. Зиновьев обычно на берег: подумать. Ложился на тёплый песок, углублялся. Ульянов работал. Теперь можно было хорошо и много работать, а не так, как раньше, когда он сидел в уютной камере, где приходилось всё время отвлекаться, глотать торопливо слепленные из хлебного мякиша самодельные чернильницы, а то – ещё хуже: поймашь вдруг верную мысль, а тебя выпускают. На волю куда-нибудь, скажем, в Швейцарию. А там хоть и скучно, но всё же Европа: кафе, рестораны и много знакомых.

Однажды приснился Ульянову сон: стояла под елью сестричка Маняша и брила ножом свою голову. При этом была обнажённой, но крепкой: фигуркою в маму. (Отец был пузатым.) Вечером, когда Зиновьев, мурлыкая вторую строчку «Интернационала», укладывался спать, Ульянов ему этот сон рассказал. Решили, что время пришло: Маняша так просто не стала бы бриться. Пора, значит, в город. Пожали друг другу неловкие руки (шалаш небольшой, обсуждали на корточках!), взглянули друг другу в глаза. Ничего не увидели: того, как один в параличной каталке, смотря на луну, будет выть диким волком, а также того, как другого, в рубахе, с раздробленным черепом, ночью зароят. Да разве такое увидишь?

Жара была страшной. В раскалённой листве еле дышали птицы и, с трудом проталкивая сквозь горло тяжёлые сгустки горячего ветра, пытались запеть, но запеть было нечем, и звук не слагался, а только терзал их, рвал нежные и голосистые связки. В июле этого года Дина Зандер ответила согласием на предложение Николая Михайловича Форгерера фон Грейфертона стать его женой. Другого выхода не было. Николай Михайлович со всех сторон обдумал происходящее: его семья была из литовских немцев – люди простые, трудолюбивые, к жизни относились недоверчиво, служанки пекли сами хлеб, а жёны растили детей в послушании, и как из такой семьи мог выйти артист и любитель нирваны, никто и не знал, и не ведал. Но эту историю обдумал Николай Михайлович так, словно он ничем от своих родных не отличался, в театре не пел, не плясал и с Гападрахатою не разговаривал. Семья не одобрила бы его поступка. Жениться на девочке, мать которой когда-то бросила мужа и ребёнка и вернулась обратно через восемнадцать лет, а старшая дочка родила сына, не будучи замужем, и все они мирно живут теперь вместе, а его невеста

собирается играть в театре, и ветер в её голове – звонкий ветер, сквозняк, – и больше всего она жаждет свободы, а разница в возрасте – не уточняйте! Всё так. А что делать?

Он проиграл пари. «Абрау Дюрсо» было не достать в городе, где за хлебом стояли унылые очереди, а воду приходилось кипятить не менее пятнадцати минут, поскольку случалась холера. Но Одетта Алексеевна не напоминала о проигрыше, а, сталкиваясь с ним в школе драматического мастерства, быстро опускала глаза: Николай Михайлович стал каким-то лихорадочным, по лестнице взбегал как мальчишка, и неловко было видеть его в таком развинченном и неестественном состоянии. Не нужно шампанского, не до шампанского. Дина Зандер, вполне осведомлённая о причине его помешательства, выглядела совершенно так, как обычно, и в роли Катерины Кабановой выступила на генеральной репетиции совсем неплохо, хотя, к сожалению, громко кричала. Николай Михайлович Форгерер плохо представлял себе, что такое женитьба, да и зачем она. Радости отцовства ему, преданному театру до страсти, казались пустою забавой. А если не дети, что проку жениться? Всегда есть Кавказ или Крым, номера. Париж, в крайнем случае. Спрятаться можно. Но сколько ни приводил он доводов самому себе, сколько ни смеялся горьким мефистофельским смехом, глядя в зеркало на своё красивое, крупно вылепленное и породистое лицо, где под глазами лежала густая синеватая чернота, сколько ни задира л подбородок и ни разглядывал с беспощадностью свою суховатую, стройную шею под сеткой морщин, а спасения не было! Морщины, и те его не отрезвляли.

Он не мог даже до руки её дотронуться: ударяло током. Когда она проходила мимо, разгорячённая танцем или упражнениями у станка (у Одетты Алексеевны преподавались и основы балета!), запах черёмухи обдавал его так, что этой черёмухой пахли потом пуговицы, запонки и шнурки на ботинках.

Она была в воздухе, которым он дышал, в солнце, которое ослепляло его, когда, вставши с постели после бессонной ночи, он отдёргивал тяжёлые шторы, и Остоженка представала взору неподвижной от жары, похожей на чью-то картину в музее, какого-то, может быть, и передвижника (куда они, кстати сказать, передвинулись?), и Николай Михайлович в ужасе вспоминал о том, что сегодня воскресенье, занятий не будет. А значит: её не увидеть.

Дина же, напротив, словно бы даже и веселела от его страданий. В понедельник, например, когда обещали грозу, и весь одуревший, задымленный

город, где каблуки оставляли дырки в расплавившемся асфальте, ждал этой грозы и смотрел в облака, которые мягко, смущённо темнели, потом уронили две капельки влаги и вновь засияли, и брызнуло солнце, – в понедельник, например, Дина Зандер остановилась прямо перед своим педагогом Форгерером Николаем Михайловичем и вдруг поправила на нём перекрутившийся галстук. Потом усмехнулась и дальше пошла – прямая, как кедр, только женского рода. Никто так не смог бы: взять да усмехнуться. Тем более: галстук поправить. О Боже!

Когда он думал о том, чтобы увезти её на Остоженку, вломиться в квартиру – какой биотанец, какая нирвана?! – и, бросив её на кровать, сорвать сразу к чёрту все эти юбочки, и зацеловать, и зарыться в неё (тогда пусть кричит, пусть кусает, пантера!), когда он всё это себе представлял, его словно кто-то хватал за рукав: такого нельзя, что ты, Коля, ей-богу...

Такого нельзя. А что можно? Что делать во времена, когда пятнадцать миллионов человек сперва были брошены убивать и быть убитыми, а нынче те, которых не убили, бежали с фронтов и брели по земле, и эта земля перестала кормить, и дом стал не домом, жена не женою, а руку подносишь к ноздрям, и рука не телом твоим сладко пахнет, а кровью? Не нужно жениться тебе, человек, а нужно, связавши добро в узелок, попробовать спрятаться от бесноватых, которые выползли из шалашей, вернулись из сливочных, сытых швейцарий и – чу! – сразу к вилам своим, к топорам, поскольку то воли им нужно, то крови, – от них бы укрыться тебе, человек, а вовсе не девушку звать обвенчаться!

Николай Михайлович Форгерер, чувствуя ком страха в горле и почти точно зная, что ему откажут, предложил Дине Зандер руку и сердце.

Дело происходило на Воробьёвых горах, избитом предместье для клятв и признаний. Дина Зандер в том клетчатом платье, в котором она ходила ещё школьницей, с высоко поднятыми и много раз обмотанными вокруг головы пружинистыми волосами, смотрела на Николая Михайловича так, словно была на много лет старше его и опытней до неприличия. Впрочем, он уже знал, что ничего, кроме баден-баденского воспитания и отсутствия отцовской руки в семье, не стоит за этими дерзкими взглядами и небрежным покусыванием сорванного лютика.

– Дина Ивановна, – не своим, глубоким и мягким басом драматического артиста сказал Форгерер, а жалобным тенором, как у чиновника. – Вы большая умница, давно раскусили меня, как орешек...

– Орешек! – вся вспыхнула Дина. – Я вам не советую прибегать к таким сравнениям, Николай Михайлович, если вы и впрямь собираетесь объясняться мне в любви! Ведь вы собираетесь?

Николай Михайлович расхохотался. Он боялся её – это правда, но, когда она стояла вот так, в старом клетчатом платье, раскусывая лютик, и делала ему замечания, внутри всё дрожало от острого счастья.

– Да, собираюсь, – повеселев, сказал он. – А замуж пойдёте?

– За вас? – пролепетала Дина Зандер.

– А, что, здесь ещё кто-то есть? – оглянувшись, спросил Николай Михайлович. – Вам кто-то ещё предлагает?

Она закрыла лицо руками, а потом посмотрела на него правым глазом, чуть раздвинув пальцы. Губы её дрожали. Он не понял: от слёз или от смеха.

– А вы меня любите? – спросила она этими дрожащими губами.

– Я очень, – быстро сказал Николай Михайлович. – А вы меня, Дина?

– И я вас – ужасно! – так тихо, что он наклонился, чтобы расслышать, сказала она, раздвинув дыханием запах черёмухи. – Я очень хочу за вас замуж, ужасно!

Николай Михайлович Форгерер почувствовал, что дерево, только что бывшее чёрным, становится жёлто-серебряным. Её лица он по-прежнему не видел, потому что Дина закрывала его ладонями, но он отчётливо увидел содранный заусенец и нежно-розоватую припухлость в том месте, где он был содран, и вдруг ощутил, что вот эту припухлость он любит сейчас так, что может заплакать. Но заплакал не он, а Дина, и так громко, так яростно заплакала, что у неё тут же расплылось лицо, а глаза стали почти прозрачными. И когда он обнял её и поцеловал эти прозрачные горячие глаза, то счастливее его, Форгерера

Николая Михайловича, не было на свете человека.

Дома новость приняли удивлённо, но и с большим облегчением. Дина уходит утром, возвращается вечером. Все взгляды к ней липнут. И время плохое. Нечистое и беспокойное время. А так: всё же замуж. Пускай за артиста, но не шарлатана, играет в хорошем престижном театре. И матери, и отцу, который хмурился, присматриваясь к Дине Зандер (не дочери вовсе и всё-таки дочери!), в глубине души давно хотелось, чтобы появился солидный, небедный и влюблённый человек, который с охотой взвалит на плечи и это актерство её, и характер, включая лицо с синевою и сиренью под змейками тёмных бровей, и насмешки...

Влюбился – и с Богом.

Николай Михайлович ходил сам не свой от счастья, на всё соглашался, и когда Дина вдруг заявила, что венчаться будет только в той же самой церкви, где месяц назад обвенчалась с Алёшей Брусиловым, сыном легендарного генерала, лучшая её подруга Варенька Котляревская, и нужно для этого ехать в Гребнево, он спорить не стал: пусть Гребнево.

Венчание назначили на самый конец августа. В селе Гребневе от жары почти что сгорел урожай, а то, что осталось, некому было убирать: бабы да старики. Но усадьба, старая, прочная, окружённая столетними берёзами, была хороша на диво. И пахло в ней тоже по-старому: травами, речной свежей сыростью по вечерам, душистым горячим дымком от костров, которые разжигали вишнёвыми сучьями. А в августе начало пахнуть и яблоками, созревшими раньше обычного, которые падали с крепких деревьев, и звук их падения был шелковистым...

Под стать усадьбе оказалась церковь с высокой колокольней и мощённым тусклыми красными камнями двором. Священнику недавно минуло девяносто, но он ещё исправно служил, и седина на его голове была и не белой, и не серебристой, а тускло-зелёной, как будто её сполоснули водою лесного и очень холодного озера.

Николай Михайлович торопил со свадьбой, и Дина решила не шить подвенечного наряда, а просто взять его у Вари, но тут ужаснулись и мать, и Алиса, и даже уставшая, тихая Таня, какая-то вновь от всего отрешённая... Портниха заломила неслыханно высокую цену, ссылаясь на то, что ничего не достать: ни ниток, ни

кружев, ни даже и пуговиц. Тогда Николай Михайлович пришёл из театра с длинным серым чехлом, положил его на диван и вынул оттуда тяжёлое платье, которое, как высвобожденная из силков птица, тут же зашуршало атласными складками.

- Это из нашего реквизита. «Женитьба», - до слёз покраснев, объяснил Николай Михайлович. - Надето всего один раз: на премьеру. Потом уже сшили другое, попроще.

- А где сам жених? - тихо и очень язвительно спросила юная невеста Дина Зандер.

- Жених? А жених убежал. В окошко - и нет жениха!

Дина Зандер подбежала к окну и пошире распахнула его.

- Ну, что вы?! Ведь вам пора прыгать!

Глаза её засверкали, на щеках загорелись пятна.

Николай Михайлович закусил губу и близко подошёл к ней.

- Боятесь? - прошептала она и исподлобья посмотрела на него.

Алиса Юльевна хотела было вмешаться, но Дина отмахнулась.

- Ну, это шалишь! - скрипнул зубами Николай Михайлович и, не дав Дине опомниться, схватил её на руки и перегнулся через подоконник. - Бросаю!

- Пустите! - взвизгнула Дина.

- А вот не пущу! - задыхаясь, ответил он.

- Пустите меня! - свирепо повторила она.

Гувернантка и Таня, бывшие тут же, в комнате, испуганно переглянулись. У Алисы Юльевны лицо приняло такое выражение, словно ещё немного – и она заснёт.

– Думаешь, я так и буду под твою дудку плясать? – раздувая ноздри, тихо спросил Форгерер.

– А думаешь, я под твою? – вспыхнула Дина и обеими руками упёрлась ему в грудь.

У Тани громко, до боли, застучало сердце. Она тоже что-то почувствовала, но что это было – восторг или ужас, – понять не успела.

– Убью! – усмехнулся жених.

Алиса Юльевна положила руку на горло.

– Убьёте? – с восторгом переспросила Дина, впиваясь огненными зрачками в его зрачки.

– Да, – просто сказал Николай Михайлович Форгерер.

– Как на сцене?

– Зачем: как на сцене? Как в жизни.

Она тихо высвободилась из его рук, тихо отошла от окна и остановилась на середине комнаты. Таня попыталась обнять её.

– Не надо, – сказала Дина. – Я знаю, что делаю.

Свадьба была самая простая. Невеста, с размахистым пучком волос под фатой, низко-низко опускала голову и на статного жениха своего смотрела исподлобья. Из городских гостей приехали только Варя Брусилова, уже проводившая мужа на фронт, беременная на четвёртой неделе и сильно от этого пожелтевшая не только лицом, но даже худыми угловатыми плечами, и бабушка Вари, Елизавета Всеволодовна Остроумова.

– Ой, Господи, Тата! – зашептала на ухо Тане Елизавета Всеволодовна, помнившая Таню ещё девочкой, которую приводили к её мужу, доктору Остроумову, лечиться от кашля. – Не ты – сестра Дины, а моя Варвара. Две бешеные девки. Они ещё дров наломают!

– Почему вы думаете? – не спуская глаз с низко опущенной головы невесты, спросила Таня.

– Ты знаешь, как я выходила? Митюша был бедным студентом. Дружил с моим братом. Вдруг – бах! Предложение! Я ведать не ведала: какая такая любовь? Что за страсти? Два раза за руки подержались до свадьбы, и за то спасибо! А эти? Ведь прут напролом и греха не боятся!

Таня услышала правду в словах Елизаветы Всеволодовны. Варя Брусилова была хороша, не хуже невесты, и так же, как в Дине, в ней чувствовалась сила, которая чувствуется внутри молодого весеннего леса, заросшего травами луга, реки или моря, а то, как глубоко и быстро дышали эти женщины, какими резкими, похожими движениями они отбрасывали со лба свои волосы, как вспыхивали, как улыбались победно, и впрямь наводило на мысль, что их извлекли из единого лона и кинули в светлую быструю воду, где только таким и находится место, пока все другие (потихе, попроще!) сидят, от брызг прикрываясь руками. В сравнении с Диной, зачем-то связавшей себя с человеком, так страшно влюблённым, что он и не мог предложить ничего, как только терзать её этой любовью, в сравнении с собственной матерью, которая каждую ночь просыпалась в слезах, почувствовав рядом Ивана Андреича, хотя его нет, сгнил, истлел, а тот, кто спит рядом, – не он и с чужим, почти незнакомым ей запахом тела, в сравнении с этим Танина жизнь могла показаться спокойной и тусклой. Как будто замёрз океан. Приподнял все волны и остановился. Её ненаглядный человек Александр Сергеевич Веденяпин очень переменялся за прошедший год, и сейчас, когда они нечасто встречались в гостинице, ей нужно было время, чтобы привыкнуть к этому.

Он обнимал Таню. Руки его, быстро перебирая её позвонки, скользили вниз. Она остро помнила, что прежде в эту минуту всегда начинало стучать не только внутри живота, груди, горла, не только в висках и ладонях, но даже внутри её глаз и волос. Сейчас была тяжесть, была пустота. Она больше не спрашивала его о Нине. Она даже и о Василии не спрашивала его, словно боялась услышать не то чтобы даже неправду, но то, что казалось ему чистой правдой, не будучи ею.

И он не спрашивал её ни о сыне, ни о родителях, ни о сестре. Все якобы откровенные разговоры их напоминали теперь игру, с помощью которой старая натруженная лошадь и старый возница обманывают слишком нетерпеливого седока: возница делает вид, что сейчас он вытащит длинный кнут из своего голенища, стегнёт эту старую клячу, а кляча, отлично научившаяся за много лет разгадывать движения хозяйской рукавицы, свирепо трясёт головой, но бежит ещё тише.

– Ну как ты, любимая? Очень скучала? – шептал Александр Сергеевич, скользя рукой вниз по её позвонкам.

Она знала, что на это можно и не отвечать. Скучала она или нет, уже не было важным. Их жизнь перестала бояться молчания. Молчать означало: не мучить, не требовать. Таня улавливала запах спиртного, смешанный с запахом душистой папиросы, чувствовала медленное и приятное тепло – не молнию и не огонь, но тепло, – она закрывала глаза. Объятыя их были похожи на прежние.

Самым странным было то, что, несмотря на отвратительный розыгрыш, который учинила Нина Веденяпина, прислав телеграмму о собственной смерти, она спокойно вернулась обратно, они живут вновь в одном доме, и, как однажды проговорился Александр Сергеевич, жена его ждёт каждый день допоздна, чтоб вместе поужинать. Тане стало казаться, что Александр Сергеевич не только не желает разъехаться, ссылаясь на то, что Нина больна и не проживет одна, – ей стало казаться, что он и не хочет этого. Сердце подсказывало Тане, что только с женою ему и спокойно, поскольку там всё уже было, включая и смерть. Она живо представляла себе, как они вместе ужинают по вечерам – электричество отключали сразу после девяти: как Нина встаёт, зажигает свечу, как входит прислуга, несёт самовар... Они говорят о Василии. Опять нету писем. Опять отступление, много убитых. Потом Нина крестится, плачет. Он, может быть, гладит её по плечу. А может быть, нет. Впрочем, это неважно.

Несколько раз Таня просила его не пить перед их встречами. Запах его рта, прижавшегося к её рту, вызывал дурноту.

– Но я же не пьян, – говорил он, отводя свои слишком сильно блестящие глаза и усмехаясь. – Разве ты хотя бы один раз видела меня пьяным?

Она соглашалась, кивала. Не стоило говорить ему то, что приходило ей в голову: настоящая жизнь у Александра Сергеевича была не с ней, а там, в этом доме, где воскресшая из мёртвых Нина Веденяпина ждёт его за накрытым столом. Они не стеснялись друг друга. Там можно напиться и сразу лечь спать. А где они спят? В разных комнатах или... Но этого он ей не скажет. Неважно.

Сейчас уже никто и не помнит, что именно происходило на свете той осенью, когда Владимир Ульянов оставил уютный шалаш, сел в поезд и прямо отправился в Питер. Где все эти люди? Которые жили, косили траву, рожали детей, убивали животных? Где все эти люди? Только не убеждайте меня, что там, где живые едят куличи и пьют самогон, заедая яичком, а после остатки сливают под крест, – о, не убеждайте, что мёртвые там: под этим крестом и под этой травой. Там нет никого. Облетевший веночек. И мраморный ангел над словом «Любимой...». А дальше – размыто дождями. Кому? Как звали любимую? Важно ли это? Зачем вот Ульянов покинул шалаш? Кормили, поили, гуляй, наслаждайся! А он: ни за что! Дайте мне броневик! Ну, дали ему броневик, а зачем? Теперь возлежит под стеклом: экспонат. В хорошем костюме и новых ботинках. Заглянет учёный, припудрит, подкрасит.

А ведь объяснил мудрый царь Соломон: Скажешь ли: «Вот мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий за душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мёд, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел её, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна.

Только бы люди догадались, что все дышат вместе, одним общим воздухом! И небо над ними – одно, и земля – та же самая. Пошёл, скажем, ливень в далекой Флориде, а в Питере сделалось пасмурно. И так же с людьми: умертвили младенца на острове Пасхи (ведь есть такой остров?), а братец его под Рязанью захныкал.

Течёт себе тихо река Кататумбо. Впадает она в озерцо Маракайбо (заучивать ни к чему, дело не в этом!). Сто сорок раз в год над местом впадения реки Кататумбо происходят странные по своей силе свечения. Сверкают огромные молнии в небе. Причём высоко: до пяти километров. По десять часов, по двенадцать сверкают. Солнце превращается во тьму, луна – в кровь. Голодный червяк быстро прячется в землю, спасает свою одинокую жизнь. Наутро опять тишина да стрекозы. Прозрачное небо. Течет Кататумбо.

А буря из рыб? Не слышали об этом? Над мирным посёлком де Юро однажды в году возникает вдруг облако. Огромное чёрное облако в небе. При этом: гром, молния, света не видно. Все прячутся: не до гостей, не до шуток. Торговля – и та замирает. Потом начинается ливень. Деревья ломаются, рушатся крыши. И вдруг: тишина с острым запахом рыбы. Посёлок де Юро засыпало рыбой. Они-то и были загадочным облаком. Многие думают, что всё это нужно изучить. О да! На здоровье. Садитесь, учите. Шаровую молнию, например, так и не удалось изучить. Она не изучается. Возникла логичная мысль о пришельце. Не молния, а НЛО в её образе. В лаборатории одного очень крупного института загадку пытались решить. Пыхтели, пыхтели, ломали приборы, пробирок одних перепортили – сотни! И вот, наконец, в очень редкостном газе, вонючем, как стадо вспотевших животных, добились каких-то разрядов. Похоже! Ужели она? Шаровая? Голубка! Не радуйтесь: слабое внешнее сходство.

В самом начале осени Анна Михайловна Зандер уехала в Финляндию продавать дачу, оставшуюся от родителей покойного её мужа Ивана Андреевича Зандера. Дина Форгерер, младшая дочь, проводила свой медовый месяц в Италии, Таня Лотосова, старшая, вместе с маленьким сыном, отцом, гувернанткой и няней, вернувшись с дачи, зажили обычной жизнью. Алиса Юльевна, так и оставшаяся в девушках и всю себя посвятившая Тане Лотосовой, стала замечать, что с её воспитанницей творится что-то неладное. Про Александра Сергеевича знали все в доме, и няня в открытую называла его «полюбовником», но кроткая и невинная Алиса Юльевна так и не смогла примириться с тем, что Тата, её золотая и нежная Тата, уходит куда-то гулять с «полюбовником», растит без отца своего мальчугана, и только глаза – всё темнее, всё больше, а смех еле слышен.

– Сосёт с девки кровь, – однажды сказала няня. – И будет сосать, а сам мёртвый. Вцепился в неё и ни в жисть не отпустит. Она у нас – ягодка, цветик садовый, а он присосался, сожрать её хочет...

Странно сказала, кстати. Как будто подслушала. И подсмотрела: заря за окном, неубранная комната, бирюзовые цветы на обоях, угол изразцовой печки, и Александр Сергеевич – с растрёпанными и редкими уже кудрями, с восторженным взглядом, – который кричит, обливается потом и страшно при этом бледнеет... А Таня, придавленная его худым и мускулистым телом (о чём и подумать-то страшно и няне, и бедной невинной Алисе!), смеётся и плачет, смеётся и плачет... А потом он наконец отпускает её и падает навзничь,

счастливый и сильный, разворачивает к себе её растрёпанную голову, сжимает её и бормочет:

- Ты знаешь, кто ты? Ты – живая вода, ты – мой кислород! Без тебя бы я умер.

В ночь на понедельник, 2 октября, совсем незадолго до переворота, Алиса Юльевна увидела сон: далеко-далеко в море висел корабль. Не плыл, а висел неподвижно и мягко мерцал, и был светло-серым, белёсым, как призрак. И мачты его, еле различимые в тумане, были похожи на тонкие проволочные ограждения, которые изгибаются вокруг кустов чёрно-красных и розовых роз на садовом газоне, что их не спасает, однако, от смерти, то мячиком стукнувшей по голове, то до крови разворотившей лопатой. Внутри отдалённого корабля Алиса Юльевна с изумлением увидела людей, которых хорошо знала в жизни и за которых особенно привыкла бояться. Таня стояла на палубе – весёлая, и Алиса Юльевна, пристально рассматривая её лицо и тихо удивляясь про себя, что корабль далеко, а видно при этом любую веснушку, заметила, что Таня весела даже как-то излишне и словно немного пьяна. На правой руке легкомысленной Тани сидел её мальчик, Илюша, кудрявый и розовый, как купидон. Покачивая толстого своего ребёнка, Таня всматривалась в призрачную воду и всё веселилась, хотя ничего, а вернее сказать, никого в воде этой не было. От такой непривычной весёлости Алисе Юльевне стало не по себе. Она испугалась, что наклонившаяся над бортом Таня случайно уронит Илюшу, и начала кричать, но Таня её не услышала и продолжала, с распущенными волосами своими, всё ниже клониться к воде и всё веселее смеяться. Алиса Юльевна перевела глаза влево и тут же увидела Дину, красавицу-девочку, которая поначалу не очень жаловала Танину гувернантку, пока не догадалась, что у тихой Алисы железный характер, и очень её полюбила за это. Теперь красавица-девочка лежала на палубе, залитая серой водою, и то ли дышала, а то ли и нет. Лицо её было румяным, живым, но странно, что Дина при этом не двигалась.

Алиса Юльевна вдруг поняла, что детки её – эти странные сестры с кудрявым младенцем в руках пьяной Таты – совсем не боятся, что скоро погибнут, и Тата от этого так веселится, от этого и наглоталась спиртного, а Дина лежит на полу, – им неважно: кричи не кричи, простирай к морю руки...

Внутри своего сна, а может быть, что и не сна, а виденья (настолько всё было отчётливым, ясным!), Алиса Юльевна попыталась открыть глаза, вернуться обратно в осеннее утро, в Москву, в свою комнату, но не получилось. Как будто

бы ей приказали: запомни.

Море, во глубине которого висел призрачный корабль, начало быстро менять цвет, чернеть и местами краснеть, и корабль, такой невесомый и хрупкий на красном, спокойно и просто готовился к смерти. Вода, морщинистая, как кожа древнего животного с картинки в учебнике, обнимала его со всех сторон, она поднималась всё выше, доставала до самой палубы, и грохот её глубины – настойчивый, медленный, властный и громкий – почти заглушал Танин смех, лепет сына Илюши... Вдруг хищно, восторженно, неумолимо сверкнула холодная синяя молния, и тут же, сомкнув горизонт чёрным блеском, наставшая ночь или смерть – кто их знает? – над жёсткой водой приподнявши корабль, его осветила с таким обожаньем, с такою нездешней прощальной любовью, что даже Алиса во сне разрыдалась.

Всем известно, что Февральская революция в Москве прошла весьма тихо, почти и беззлобно. А главное: все ликовали. Ведь люди не требуют многого. Побольше прекрасных воззваний, побольше! И криков побольше, взволнованных криков. Всем хочется праздника и перемены, ведь жизнь, как посмотришь с холодным... С холодным? Откуда же, Господи, холода столько?

В октябре ни о какой тишине и речи не было. Кровавопролитные уличные бои не обошлись без артиллерии, Кремль и Арбат были заняты юнкерами Александровского военного училища: защищали молодые орлы Временное правительство, дрались как могли. Как всё изменилось, однако! Как быстро! Весною сдавали экзамены, обсуждали образцы тканей для будущих френчей и кителей. Готовились к жизни, прекрасной до дрожи. И главное: шпоры. Чтоб с лёгоньким звоном. Ведь как будет сказано в стихотворенье? «И слаще всех песен пропетых мне этот исполненный сон, качание веток задетых и шпор твоих лёгонький звон...»

Лучшие, кстати, шпоры изготавливали в мастерской Савелова на Каменноостровском проспекте в Петербурге. Савелов, сердитый лицом человек с голубыми глазами, потратил всю жизнь, пока не нашёл такую пропорцию серебра и стали для колёсика, что шпора звучала почти колокольчиком. Зачем колокольчик? А как же? Вот лунная зимняя ночь. Тишина. Лечу к даме сердца, не чувствуя вьюги. Пришпорил коня. Снег блестит серебром. Взбегаю по лестнице. Шпоры запели. Ты слышишь их музыку? Ты меня ждёшь?

По звону-то и узнавали безумцев.

В подъезде одного из домов по Староконюшенному переулку стоял самовар, и дамы поили защитников чаем. Во всей Москве не было сахара, но был ещё мёд. От мёда и дам становилось теплее. У Никитских ворот несколько дней горели два больших здания. Никто не спешил их тушить. Пусть горят. К военному госпиталю, расположенному в доме на Большой Молчановке, днём и ночью на грузовиках подвозили раненых. Их стоны качало октябрьским ветром. Казалось, у стонов был цвет. Тёмно-бурый. Такой же, как мёртвые, бурые листья.

Доктор Лотосов сутки проводил в госпитале, спал два-три часа в своём кабинете и снова к столу: оперировать. Таня всю неделю не выходила из дому: у Илюши была корь. Обсыпанный сыпью, похожей на мелкие ягоды бузины, ребёнок капризничал, плакал, и Таня тревожилась. Телефон не работал, никакой связи с Александром Сергеевичем не было. Няня и Алиса знали о происходящем в городе гораздо больше, чем она, и няня утверждала, что это и есть конец света. Алиса Юльевна, смеясь и всхлипывая, пересказала Таниному отцу, как дворник сказал вслед двум спорившим господам, которые, жестикулируя и перебивая друг друга, кричали на весь Большой Воздвиженский:

– Нет, нет! И не спорьте! Наш долг, наша честь: довести страну до Учредительного собрания!

А дворник отплюнулся:

– И ведь до чего довели, сучьи дети!

Отец схватился за голову и захохотал. Глаза были красными и воспалёнными. Алиса обтёрла его голову мокрым полотенцем, сама принесла из кухни самовар, заварила чай, и он поцеловал у неё руку.

Потом убежал. Опять в отдалении где-то стреляли.

– Вот и помяните мои слова, – сказала няня, – нынче такие времена, что все с пистолетами будут ходить. Раньше в карманах платки носовые держали, табак, папиросы, а нынче одни пистолеты.

Сидели в столовой, едва тёплой: дров хватило только на то, чтобы протопить Илюшину комнату. Мама была в Финляндии, письма не доходили, Дина – в Италии с мужем. Последнее письмо её Тане пришло две недели назад, короткое:

– Не думала я, что стану предметом такого тяжёлого помешательства. Я бы, наверное, любила его, если бы не эта постоянная страсть ко мне, которая выражается то в гневе, а то в нескончаемых ласках. Мне тошно и то, и другое. Иногда я жалею его. И так сильно жалею, что чувствую себя одну во всём виноватой.

Скучаю по дому, тебе и Илюше.

Сестра твоя Дина.

К письму была приложена фотография: Дина в огромной чёрной с белым ободком шляпе, в белом широком платье сидела в плетёной качалке и очень печально смотрела прямо на Таню своими широко расставленными глазами. У самых её ног, прижавшись виском к худому, отчётливо проступающему под платьем колену, сидел Николай Михайлович Форгерер, отпустивший волосы почти до плеч, что совсем не шло ему и делало его старше. На губах Николая Михайловича бодрилась усмешечка, но выражение умных и тёмных глаз совсем не подходило к ней: взгляд был полон гнева, больной, вопрошающий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.me/ru/murav-eva_irina/holod-cheremuhi

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)